

Наум
ВАЙМАН

РАССКАЗЫ О ЛЮБВИ

КАЯЛА
Киев, 2020

Вайман. Н.

И-25 Рассказы о любви — 2020. 190 с. — (Серия «Коллекция поэзии и прозы»).

ISBN 978-617-7697-58-8

Наум Вайман, известный писатель, автор дневниково-эпопеи «Ханаанские хроники», а также глубокий и неожиданный в своих выводах исследователь творчества Мандельштама («Черное солнце Мандельштама, «Преображения Мандельштама» и др. книги), поэт, переводчик, публицист, на этот раз предстает в новой ипостаси, как автор рассказов. По словам очень известного и авторитетного в российской литературе критика Ольги Балла: «Рассказы Наума Ваймана — почти притчи. А иногда, кажется, притчи вполне настоящие... Они — о границах, в которые упирается человек, ... о тоске по большой настоящей жизни, о её недостижимости и тайной возможности. Тут, на самом деле, что ни история — то формула. И всё — о самом существенном. Не только об уязвимости и беде — хотя тень их, кажется, постоянно следует за героями рассказов... Не переставая быть притчами-формулами, эти истории конкретны до осязаемости, зримы до кинематографичности, каждая — почти сценарий».

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

— Ты же знаешь, что у меня никогда не было ни собак, ни кошек, я их терпеть не могу, а в эту пятницу я как всегда спустилась утром в свое кафе, выпить кофе с их фирменной булочкой, посмотреть почту и новости, в эту рань еще только открывают, и воздух даже летом еще свежий, и улицы пустые, сын хозяина поливает шлангом тротуар перед витриной, раскрывает зонты, переворачивает стулья, а он как раз собачник, и собаки его любят, всегда крутятся возле него, а в этот раз какая-то новая псина, я в породах не разбираюсь, лохматая такая, и вдруг подошла ко мне и села рядом, смотрит так... И я посмотрела ей в глаза, и знаешь, странная вещь, никогда со мной такого не было, какой-то вдруг «клик», как с человеком, какая-то вдруг неожиданная близость, как будто узнали друг друга. И она еще так голову наклонила... В общем, теперь каждый раз, как я захожу утром в кафе, она уже ждала меня, подходила к столику и садилась, или ложилась рядом. Меня это так тронуло, что я сказала Ади, сыну хозяина, странно, говорю, никогда я собак не любила и даже внимания на них не обращала, а эта так странно смотрит, как в душу заглядывает, и привязалась...

А он говорит: «Да она слепая».

ЮДОФИЛ

«История не кормит, а убивает», — сказал отец, когда я вознамерился идти в Университет на исторический, и тут же перечислил сгинувших родственников, неосмотрительно вступивших на скользкую «идеологическую» стезю. «Хватит с нас историков», добавил он. А я зачитывался университетскими учебниками и хрестоматиями по древней истории, как романами.

Тяга к первоисточникам завела в лабиринт нелегальной торговли книгами. Здесь велась волнующая охота за объявленными и сразу исчезающими изданиями Светония, Плутарха, Тацита в «литпамятниках» или за раритетами «ACADEMIA» начала тридцатых (однажды мне достался «Макиавелли» 34-го года с предисловием Каменева и стал с тех пор одним из моих любимцев), за дореволюционными изданиями энциклопедий и классиков философии. В этой погоне за книгами было все: страсть открытий, вызов тоталитаризму, жажда приключений, пороки зависти, жадности и азарта, даже мелкая уголовщина, ибо в ход, кроме обычного и малоэффективного накопления средств, шли надувательства, кражи, карточная игра и любовные обольщения, и всё — ради сладчайшего из наслаждений: ты и книга поутру, в перекрученных простынях...

Как-то я наткнулся у Февра, в его «Боях за историю», на обидный абзац: «Я люблю историю. Если бы не любил — не стал бы историком. Разрывая жизнь на две части, одну из них отдавая ремеслу, сбывая, так сказать, эту часть с рук долой, а другую — посвящая

удовлетворению своих глубоко личных потребностей, — вот что кажется мне ужасным...». Отец тому же учил: сначала ремесло, а в свободное время — делай что хочешь. Согласный с ним в оценке текущего исторического момента — воспитал-таки потомственный пролетарий антисоветчика и махрового реалиста — я понуро отправился «приобретать специальность» в Электротехнический институт Связи, и получил «внутреннюю раздвоенность» по полной программе.

Униженный компромиссом, я возненавидел этот институт, кишевший жизнерадостными соплеменниками, увлекавшимися турпоходами и дозволенной задумчивостью студенческой песни, и детьми военных, слегка фрондирующих на тему «роли армии в государстве» (опала Жукова была не случайной: дряхлеющий отец народов обезглавил победившую армию). Если бы не Вадим и еще два-три маргинала, не чуждых гуманитарных интересов, и поговорить было б не с кем. А поскольку я глубоко презирал «технарей», то и девицы в институте меня отталкивали: в их преданности учебе мне чудилось раболепие.

Но одна достойная внимания особа в институте все же была. Лена Харитонова. Она училась на пятом курсе параллельного факультета и на «филодроме», огромном балконе на втором этаже, где на переменах собирался институтский бомонд покурить, позлословить, всегда была окружена стайкой поклонников, а на выходе из института ее частенько встречали уже совсем взрослые ухажеры, иногда на машинах. Трудно указать на что-то определенное в ее внешности, что объясняло бы причину такой популярности: красоткой она не была, впрочем, дружно утверждалось, что фигура — «классная». Мне она нравилась независимостью, тем, чего у меня отродясь не было, а ей, судя по осанке, походке, по улыбке — просто далось в наследство. Я глаз с неё не сводил.

На втором курсе розовые мечты перейти в Историко-Архивный (я жил ими весь первый курс) потускнели, от тоски я стал сочинять стихи, поселившись на последней парте и заглядываясь в окно, то на дождь, то на снег, то на листопад. Друг Вадим, который тоже «пописывал», беспощадно одобрял мои пробы пера, и, прогуливаясь по бульварам от театра Советской Армии до Рождественского монастыря с выходом в конце концов к Малому, мы читали друг другу стихи, делились сердечными тайнами, философствовали.

Стихи были все больше об осени («Осень медная, надменная, ведьма милая моя...»). Теперь, перечитывая, мне кажется, что их писал какой-то другой человек... «Только змеи сбрасывают кожи, чтоб душа старела и росла. Мы, увы, со змеями не схожи, мы меняем души, не тела». Вадим очень любил Гумилева, переписывал ходившие по рукам машинописные копии и эту «Память» («Память, ты рукою великанши жизнь ведешь, как под уздцы коня, ты расскажешь мне о тех, что раньше в этом теле жили до меня») читал мне сотни раз, потому и запомнилось. Я Гумилеву не поклонялся: демонстративный романтизм отпугивал меня, романтика «в душе», как публичный дом — мечтателя-девственника, но Вадим декламировал его, особенно выпив, с таким вдохновением, порой со слезами, а слезы поэта, черт возьми, заразительны, что и я умилялся. Особенно трогало меня это: «Сердце будет пламенем палимо вплоть до дня, когда взойдут, ясны, стены... стены Иерусалима...» В этом месте мы уже не сдерживали дружных рыданий, только я «тайно», вместо «стены Нового Иерусалима» (здесь я слышал неправильный размер, да и руины Нового Иерусалима, куда я таскался к Тане на электричке, не будили во мне слезы «святой любви») повторял дважды слово «стены», шепча: «стены... стены Иерусалима...». Тем более что в

стихотворении речь шла, конечно, о горнем Иерусалиме, а мне хотелось плакать о дольном. Так что мы рыдали дружно, но каждый о своем.

(А здесь осенью зреют на пальмах финики, и их могучие красные гроздья среди серых, иссушенных бесконечным летом, надломленных под тяжестью урожая ветвей, горят в вышине, в беспросветной лазури...)

Осень — мистерия смерти. Чтоб не забывали о том, что смерть — это всего лишь жатва. Не таков ли и труд историка? Когда тебе житейские бразды, труд бытия вознаграждая, готовятся подать свои плоды и спелет жатва дорогая, и в зернах дум ее собираешь ты, судеб людских достигнув полноты...

В молодости смерть людей или увядание природы только подчеркивает победоносную силу собственной жизни. И любовные ритуалы особенно сладостно справлять осенью: целуешь румяную от холода деву, а под ногами похрустывают иссохшие жилы «багровых сердец», сброшенные с ветвей где-нибудь в Филях, или в Сокольниках. Осень — ритуал вечного возвращения. «И с каждой осенью я расцветаю вновь...» Природа нас утешает.

Стал ли я с тех пор меланхоликом? Нет, пожалуй. Но я меланхолию возлюбил.

Екклесиаст решил польстить меланхоликам на счет «сердце мудрых — в доме плача, сердце глупых — в доме веселия». Так-то оно так, однако, и у «веселия» своя мудрость. Веселые живут сегодняшним днем, а грустные вечно заглядывают в будущее или оглядываются на прошлое. Но мечтательность не мудрость, скорее, страх перед каждодневной жизнью, которая — как прогулка по брёвнам, сплавляемым по реке: каждый шаг грозит падением в хладную влагу Леты. Веселые любят всех, а грустные — только себя и потусто-

роннее, к которому приводит мечта обрести незыблемое. Даже в женщине эти «узники плоти» ищут какую-то тайну, магию. Продление рода для них оскорбительно, они жаждут продлить себя. В вечность. Усилием творческой воли. «Горче смерти женщина, потому что она — сеть, и сердце ее — силки, руки ее — оковы». Проклятый дуализм. Не иначе как единобожие помало нам здоровую сексуальную жизнь.

Теперь я думаю, что русские — самый меланхолический народ, и русская словесность, та, старая, ядовито меланхолична. Для них и любовь к истории — лишь дань меланхолии. Нет в ней «пафоса Пути», как говаривал Петр Наумович, нет этой еврейской воли к обновлению. Даже среди евреев-русских поэтов меланхолия не господствует. Мандельштам торжественен. Крутая соль торжественных обид. А Пастернак и вовсе был оптимистом (хлесткое словечко), «сестра моя, жизнь» — более еврейского названия для книги не выдумаешь... Разве что Исаак Левитан вместе с осенним дымом наглотался тоски тусклых просторов.

Со временем, уже в Израиле, меланхолия у меня прошла. Усохла на этой жаре и потеряла вкус. Только запах остался, внезапный, головокружительный запах разбуженной памяти, гниющих листьев...

Как-то раз в солнечный апрельский день я поехал в Измайлово, где временно, после разгона на Пушкинской и около «Ивана Федорова» (власти, видно, решили взяться за книжный рынок), разместилась толкучка. Я искал Библию — пора было как-то прикрыть зияющую брешь в знакомстве с собственной историей и мировой культурой. Библия стоила минимум пятьдесят рублей, две стипендии, у меня была только двадцатка, но были книги на обмен; в крайнем случае, я был готов расстаться и с «кровными».

Толкучка расположилась по обе стороны протоптанной дорожки, вдоль которой еще чернели затвердевшие сугробы, сотни ног месили весеннюю грязь, поскользнувшись, кто-то иногда падал, вызывая короткое замешательство. Продавцы держали часть книг на газетках, расстеленных на подсохших залисынах земли или на заледеневшем снегу, часть — подмышкой, а особо ценные — в глубоких внутренних карманах старых пальто, на такие мероприятия народ одевался непритязательно. Я ходил вдоль разложенных книг, как сладострастник на рынке невольниц: каждую мне хотелось потрогать, полистать, почитать. При этом я не забывал о цели своего визита. Наконец, один небритый и неряшливый иудей посоветовал мне обратиться к «собирателю иудаики», которого он сегодня видел на рынке, иудей вкратце описал этого «собирателя» и то место, где он его видел. И я действительно нашел там мужичка, соответствующего описанию: небольшого роста, лет шестидесяти пяти, аккуратно одет, без шапки, с коротким седым бобриком. Подмышкой он держал несколько книг, прижав их предплечьем. (Диалоги и другие подробности я восстановил по старому дневнику.)

— Извините, мне сказали, что вы собираете иудаику...

— Вам нужны книги по еврейской истории? У меня есть Грец, Дубнов, Ренан...

Сердце моё встрепенулось, но это всё были вещи по цене неподъемные.

— Собственно я ищу Библию.

— Библия есть только миссионерская (карманный формат с мельчайшим шрифтом, он-то и стоил полтинник), цена стандартная. Не здесь, дома. А на древнееврейском вам не нужно? — Он вскинул на меня иронический взгляд. — Есть роскошная.

— Если вы готовы на обмен, хотя бы частичный... — я пропустил его выпад насчет древнееврейского мимо ушей.

— А что у вас есть на обмен?

Мы все еще выясняли возможности сделки, когда на толкучку, внезапно, как ветер, налетела тревога облавы. Народ бросился по узкой протоптанной дорожке, толкаясь, падая, топча книги, «спекулянты» в панической спешке собирали товар со своих импровизированных прилавков, кидали в рюкзаки, распахивали по карманам, ныряя кто в толпу, кто в лес. Я видел, как книги падали в мокрый снег, беспомощно распахнувшись, нежными страницами в снег, сокровища, тут же затапываемые в грязь. Мы побежали вместе с «собирателем иудаики» — я все еще рассчитывал на сделку — он бежал бодро, не отставая, почти деловито, чему-то ухмыляясь при этом. Незаметно было, чтобы он испугался.

Только в метро мы смогли перевести дух и познакомиться. «Петр Наумович», — представился он и дал мне свой телефон.

В назначенный день, в семь вечера, с двадцатником в кармане и Тютчевым 1913 года в сумке, я зашел по данному мне адресу, с удивлением отметив массивный сталинский дом с балконами на Проспекте Мира, просторное парадное и чистую лестницу. Каково же было мое изумление, когда дверь мне открыла Лена Харитонова. В небрежно расстегнутой кофточке и брюках. Я подумал, что грежу. Она подняла брови, узнав одного из своих вздыхателей, и улыбка едва тронула ее губы.

— Извините... — промямлил я, — Петр Наумович... здесь живет?

— А-а, вы к дедушке? Его сейчас нет.

— Он просил меня зайти к семи...

— Но еще без четверти.

— Да, действительно... Я боялся опоздать, извините...

— Да вы заходите. Подождите его. Раз он сказал, что будет к семи, значит будет.

Большая гостиная, старая, добротная мебель, два могучих книжных шкафа, к которым меня невольно потянуло.

— Вы не в институте Связи случайно учитесь? — спросила Лена.

Я улыбнулся, обрадованный разоблачению.

— Понятно, — кивнула головой Лена и тоже улыбнулась.

Разговорились. Потом она предложила закурить, но я сказал, что не курю. Она удивилась. Чтобы показать, что я не такой уж пай-мальчик и книжный червь, я сказал, что из-за спорта, боксом занимаюсь. Это признание тут же показалось мне самому хвастливым, и чтобы загладить это впечатление я стал скороговоркой рассказывать про нашего тренера Никифорова, какой он чудный старик, в 25-ом был чемпионом России в полутяжелом, да и сейчас еще, когда руку выбрасывает, лучше рожу не подставлять, а если ей интересно, то завтра в четыре в нашем спортзале будет матч с Энергетическим, первенство Москвы среди вузов, поскромничал (скромные знают, почему они скромны, говаривал Гете), что в сборную попал случайно: заболел наш постоянный, во втором полусреднем. Я как-то позабыл даже, что мне наверняка набьют морду (когда Никифоров предложил мне выступить, я даже думал отказаться — в сборной МЭИ мог попасться чуть ли не мастер спорта, а тогда — выносите мебель). Мое вдохновение прервал хлопок двери в прихожей. Через минуту в комнату вошел Петр Наумович, в распахнутой генераль-

ской шинели, весь в орденах, как новогодняя елка, и немного подшофе. Щелкнув каблуками, он отвесил мне поклон. Я был совершенно поражен и застыл возле книжного шкафа. Лена помогала ему раздеться.

— Съезд уже кончился?

— Надоели они мне. Вот и сбежал, пока не споили. Русский генералитет! Тьфу ты, господи. Молчу, молчу. Ничего, я сам... А ты лучше чайку нам организуй, — прервал он неловкую паузу. — А мы пока с товарищем... Садитесь, — обратился он ко мне и достал из буфета вазочку с конфетами. — Угощайтесь.

— Нет, спасибо.

— Неужто сладкое не любите?

— Да не очень, — соврал я.

— А я так — уважаю. Ну, а... он достал треугольный графин с жидкостью вишневого цвета и постучал по нему ногтем, — если наливочки?

— Да нет, спасибо.

— Наливочка! Наша, семейная, с дачных угодий! Полрюмочки?

— Ну... — замялся я, улыбаясь. — Разве что полрюмочки.

— Так-так.

Он снял китель, хотел повесить на стул, но передумал и унес в другую комнату, видно, не хотел давить на меня наградами, я оценил его деликатность. Затем достал из буфета печенье и три хрустальные рюмки. Разлил вязкую, рыжевато-красного цвета наливку.

— Ленка!

Лена расставила на столе чайный сервиз, мы сели втроем, подняли рюмки, все трое улыбались, только по-разному: я чувствовал себя ужасно неловко, Лена явно забавлялась, а дед что-то больно лукаво шурился.

— Ну, вы уже познакомились? С Наумом?

Он как-то особенно подчеркнул мое имя.

— Познакомились, — Лена улыбнулась еще шире и веселее. — Он, оказывается, из нашего института.

— Надо же! Интересно. А я вам еще полностью не представился — Петр Наумович Харитонов, будем знакомы.

Мы взмахнули рюмками и выпили за знакомство. Наливочка оказалась крепкой.

— Из-за отчества меня в Академии евреем считали, — в упор, даже не хмыкнув, пальнул в меня генерал.

Как ни «приучай себя к мысли», все равно каждый раз вздрагиваешь, услышав роковое слово. О-о, я улавливал все тончайшие оттенки его произношения и сразу понимал, что имели в виду, когда говорили «еврэй», или «евв-рей», или «евррей», или «ивре», скороговоркой, как бы проскакивая опасную зону. И в этом смысле мужик, кажется, был без комплексов, просто — у каждого своя заезженная пластинка.

Когда мы познакомились и вместе драпали к метро, я был уверен, что он еврей. Ну кто еще будет собирать «иудаику»? Но когда увидел при регалиях, то, естественно, засомневался. Теперь же сомнение подтвердилось.

— А вы сами-то, из евреев будете?

Даже Лена смутилась (как я потом убедился, с ней это случалось не часто), встала и ушла на кухню за чайником, оставив меня наедине с этим неожиданно распоясавшимся и наверняка вздорным стариканом.

— Из самых что ни на есть, — ответил я, невольно подражая его глумливому тону.

Он кивнул головой, как бы подтверждая свою догадку, и повторил:

— А меня всегда в Академии евреем считали. В армии — нет, а в Академии — считали. Причем скрывым!

И он хохотнул.

— И вы знаете, — продолжил он, как-то затуманившись, — ведь что-то они во мне почувствовали.., что я и сам еще не знал... (При этом заявлении, как говорится, все насторожились.) Еще наливочки?

Пропустили еще по рюмке. Вошла Лена и стала разливать чай.

— Замечательная наливка. Из каких ягод? — любопытствовал я, изображая любознательного помещика.

— А-а, это мое, собственное изобретение! — оживился генерал. — Тут и крыжовник, и смородина, и еще кое-какие таинства!

Я старался пить чай интеллигентно, малюсенькими глотками, боясь опозориться (мамин окрик «не сёрбай!» стоял у меня в ушах). Будучи евреем и потомственным пролетарием, я ощущал себя дважды плебеем и от близости высоких чинов чувствовал легкое головокружение. А тут даже сервиз был явно «не из простых», с росписями: какие-то дамы и кавалеры в париках, в куртуазных позах. Я и генерала вообразил в таком парике. Глубокие морщины катились по его лицу, продолжая завивку парика, но взгляд карих глаз был молодой, напористый.

— Так как вы думаете, война будет? — спросил он неожиданно.

— Какая война? — искренне удивился я.

— Как какая? На Ближнем Востоке. Египтяне ведь закрыли проливы.

Я опять напрягся — нет, с этим типом надо держать ухо востро — и пожал плечами. Как можно равнодушной и тоном, предлагающим закрыть тему, обронил:

— Не знаю.

— М-да, — генерал вдруг опечалился. — Я виноват, конечно. Забыл, что мы не в Гайд-парке...

— Деда! — одернула его Лена.

— Да-да.., — помрачнев, сказал Петр Наумович.

— Знаете, был такой анекдот, — сказал я, не зная, как иначе разрядить обстановку, а может и «наливочка» подействовала, — англичанин и русский поспорили, в какой стране больше свободы, англичанин говорит: конечно, у нас, вот я, например, могу выйти на лужайку в Гайд-парке и публично заявить, что наша королева — дура! Подумаешь, сказал русский, я тоже могу выйти на Красную площадь и публично заявить, что ваша королева — дура.

Анекдот, как видно, оказался для Петра Наумовича «свежим», и он заразительно захохотал.

— Ну, раз такое дело, — он явно повеселел, — тогда последнюю. Всё, последнюю (это уже к Лене), — и стал разливать наливку. — Ваше здоровье!

Мы чокнулись.

— Только бы решились.., — произнес он как-то в сторону.

— Надеюсь, что всё обойдется, — сказал я на всякий случай, хотя генерал и не смахивал на дешевого провокатора. — Пошумят и перестанут.

— Ну, нет, — Петр Наумович решительно покачал головой, — это не дворовая ссора! Там история узелок завязала.

— Да уж, — говорю, — где евреи, там непременно случится какая-нибудь история.

Генерал, ухмыльнувшись, погрозил мне пальцем.

— Напрасно иронизируете, молодой человек, оно так и есть. Где евреи — там... Да, если угодно: там и история. А где их нет, или если они покидают какие-то страны, то страны эти зачастую оказываются как бы вне истории...

— По-моему, тебе надо отдохнуть, — сказала Лена, разговор ей не нравился.

Но Петр Наумович гнул своё:

— Мы должны молиться (его «мы» не прошло мимо моих ушей, и я опять подумал, что может он действительно «скрытый?»), молиться! чтобы у них хватило решимости. Евреи должны воевать каждое десятилетие, чтобы хребет выпрямился. Впрочем, у них нет выбора. Есть эпохи, когда уже не люди, а боги вступают в спор...

Обмен книгами на этот раз не произошел, генерал, прочитав мне лекцию о значении Библии для мировой культуры, пообещал достать «нормальную» книгу («эту надо с лупой читать»). Перечить не было смысла: я был теперь заинтересован развивать контакты.

Лена, попрощавшись, ушла к себе. Генерал проводил меня до двери, однако, уже взявшись за ручку, неожиданно продолжил разговор:

— А вот интересно, Наум, у вас есть желание творить историю? Когда мы были молодые, это было для нас самым главным, а нынешняя молодежь... как-то стремится «уйти в частную жизнь». Или я не прав?

— Ну, — говорю, — тогда время было другое, и захочешь — не спрячешься. Да и вообще история нас не спрашивает.

— Ой-ли, ой-ли... Разве история — это не деяния людей?

— Нас учили роль личности в истории не преувеличивать.

— Как вам сказать..., известно, например, что иногда одна единственная битва решала исход войны и определяла исторический путь народов: при Пуатье был положен предел арабскому вторжению в Европу, при Грюнвальде — германской экспансии на Восток, битва при Гастингсе решила судьбу Англии, и так далее. А судьба битвы, это я могу сказать и по личному

опыту, зачастую решается на каком-то узком, но ключевом участке, где сталкивается ограниченное число людей, и в этой схватке все зависит иногда от одного человека, способного увлечь за собой других или проявить примерное, а то и беспримерное личное мужество. Вот и получается, что один человек может решить судьбу сражения, войны, определить историческую судьбу, и не будучи полководцем или государственным деятелем. Не зря же люди славят героев. Но что интересно: даже те, кто сознательно от ответственности уходят, решают, так сказать, сугубо частные задачи — все равно определяют судьбы других, и безответственность столь же судьбоносна, как и героизм, вот ведь какая штука...

— А существует ли вообще История Человечества?

— Оо, вопрос не мальчика, но мужа! — Петр Наумович хитро прищурился. — Мне почему-то кажется, что вы интересуетесь историей не меньше, чем электроникой?

— Да мне эта электроника вообще до фени, — признался я в сердцах.

— Прекрасно! Конечно, История — это понятие, и понятие определенной культуры. В сущности иудео-христианской, чего греха таить. А Гегель вообще сделал историю Вавилонской башней бытия, которую человечеству предназначено строить. Но есть народы и культуры, не признающие «исторических перспектив»... По мне, так у народов, как и у людей, есть судьба, а значит и...

— А мне кажется, — я наконец-то нашел собеседника, с которым захотелось поделиться сокровенными мыслями, — что история, и даже судьба, это вопрос рассказа, историю создают рассказчики, и рассказывают они, как правило, не то, что было, а то, что, по их мнению, может быть интересно слушателям...

— Это хорошая мысль. Но рассказ и потребность в нем — это и есть культура. Вот Библия как раз — первая в мире историческая книга, книга, где описывается История, история взаимоотношений целого народа, с его Богом, такой роман с Богом...

На дверь осторожно нажали, она медленно открылась и на пороге появилась высокая женщина лет пятидесяти, может, чуть меньше, я тогда плохо разбирался в подобном возрасте, белокурая, со вкусом одетая, короткая стрижка с челкой, а-ля Мирей Матье, мне даже показалось, что «со свиданки».

Произошло несколько суетливое и неловкое знакомство с Верой Петровной, которая мне тоже понравилась, выглядела она в тот вечер довольно молодо, и, рассказав под занавес анекдот про разницу между англичанами и евреями, что англичане уходят, не попрощавшись, а евреи прощаются, но не уходят (и этот анекдот вызвал бурный восторг Петра Наумовича), я откланялся и всю дорогу домой, довольный собой, до ушей улыбался, весело повторяя, как припев, хлестковское: а мамаша тоже ничего, аппетитная!

Генерал-майор Петр Наумович Харитонов, до недавнего времени еще преподававший в Академии историю войн, вел замкнутый образ жизни, выбираясь только на книжную толкучку, где время от времени сближался с разными чудиками, в основном — евреями, владельцами нужных ему книг или материалов. Дело в том, что Петр Наумович писал книгу о решающей, да-да, именно решающей роли евреев в победе над гитлеровской Германией. Основной тезис книги доказывался немалой, понадернутой отовсюду и творчески обработанной статистикой. Был здесь и краткий обзор важной роли евреев в технических достижениях Англии и Америки, в политической под-

держке вступлению Америки в войну и в непосредственном участии в военных действиях на фронтах (по сведениям, взятым им из какой-то немецкой книги — он владел немецким — на стороне антигитлеровской коалиции воевало полтора миллиона евреев). Но главное внимание было, конечно, уделено Великой Отечественной войне. По его подсчетам, на советско-германском фронте воевало полмиллиона евреев, примерно 12% еврейского населения СССР, из которых погибло более двухсот тысяч). Процент офицеров и Героев Советского Союза среди евреев был на много больше процента их численности и пропорционально превосходил долю всех других национальностей (при этом он хитроумно опровергал ухищрения официальной статистики), но определяющий вклад был не на фронтах, а в интеллектуальной сфере: составляя перед войной 13% научных работников, 16% врачей и 10% инженеров (при двух с лишним процентах населения), евреи были административной, научно-технической и пропагандистской элитой страны. Он скрупулезно собирал имена директоров заводов, главных инженеров, главных конструкторов, директоров КБ и начальников лабораторий, даже простых инженеров, определявших ситуацию на главных направлениях научно-технических разработок. На этих «главных направлениях» (авиа- и танкостроение, электроника, ядерные исследования) «процент» просто зашкаливал, особенно если считать с полукровками, которых он не исключал из «общего вклада». Официальная статистика существовала лишь частично, так что он собирал сведения по крупицам, иногда судьба сводила его (на ловца и зверь бежит) с евреями — энтузиастами этой темы, собравшими, каждый в своей области, необъятный материал (у одного была подробная, по годам, статистика Героев СССР по

национальностям, у другого — поименный список всех офицеров-евреев, от лейтенантов до генералов армии, составленный по публикациям советских газет за десятки лет). Он и меня попросил заполнить анкеты на всех известных мне родственников, близких и дальних: годы жизни, место рождения, социальное происхождение, образование, брак (особо указать, если смешанный, статистика полукровок была его особым коньком), служба в армии, род занятий и т.п., и распространить такие же анкеты среди знакомых. Особо подробно нужно было отметить тех, кому удалось сделать карьеру. Он говорил, что у него сотни таких анкет.

В его погруженности в эту тему было что-то маниакальное, заставлявшее подозревать какую-то тайну. Лена мне рассказала, что в 53-ем он был настолько возмущен антисемитской кампанией, что написал какое-то письмо Сталину, его арестовали, но через несколько месяцев выпустили и восстановили в правах — Сталин вовремя умер.

Однажды я спросил его напрямик:

— А почему вас так интересуют евреи?

— Здрасти. Кто ж ими не интересуется? Про Вечного Жида слышал (он давно был со мной на ты)? И вечности его секрет разгадке жизни равносителен... Ты как-то говорил об истории как рассказе, так вот, можно сказать, что увлек меня этот рассказ... Мне в детстве бабушка Библию читала на старо-славянском, и я думал: какая красивая сказка... Ну и потом, так получилось, что самые интересные люди, с которыми мне пришлось в жизни столкнуться, были евреями...

— Не знаю, мне пока не очень-то везет в этом смысле. Да и вообще, советские евреи в сущности и не евреи уже, они не несут с собой какого-то особого культурного багажа, наследия, не хранят какой-то осо-

бый культурный опыт. Тем более «полукровки», ну что, будем считать процент еврейской крови? Это уже какой-то, извините, расизм.

Настала тишина, как перед артобстрелом, который ждать себя не заставил.

— А ты кем себя считаешь?

— Ну, мне-то выбирать, к сожалению, не приходится... — я засмутился. — Но в смысле культуры...

— Ну да... А вот скажи мне, тебя обрезали?

— При чем тут обрезание?

— А что, по-твоему, культура — это романы? «Анна Каренина»? Культура — это обрезание. Культура — это символы и обряды расы, а история — борьба рас.

— Да? А я думал — борьба идей.

— Идеи — цветы рас, дети мифов. И история не просто рассказ, а миф. История — это мифология. Мифы народов — это смысл их существования и гарант выживания. Поэтому люди сочиняют мифы и воюют за них. Воюют насмерть. Настоящие войны — это войны мифов, и последняя война в этом смысле была иудео-германской, и никакой другой. А мы живем не просто в Истории, а в христианской истории, то есть наша история — это еврейский миф. Нас заставили поверить в него, мы его пленники. Конец этого мифа — и наш конец. Так что участвовать в истории для нас — это участвовать в еврейской судьбе. А этот магнит всех затянет, и полукровок, и «чужих». Вот и меня намагнитило...

— Осталось только принять иудаизм, — усмехнулся я.

Он неожиданно посерьезнел и даже как-то замер, но потом «отошел». И произнес с печальной задумчивостью:

— Мою судьбу это уже не изменит... Вот если бы книгу удалось дописать. Может быть, в Израиль поехать, взглянуть хоть одним глазком...

Мы сблизились, я стал у них частым гостем, хотя так до конца и не преодолел некоторой настороженности и не всегда врубался в его вдохновенные речи. Меня покорило ощущение равенства и подлинного интереса к моей персоне, если бы не разница в возрасте, можно было бы считать это дружбой, и я гордился нашим сближением, мне нравилось помогать ему: разбирать книги, выполнять мелкие поручения, иногда — переводить с английского. К тому же я получил доступ к совершенно фантастической библиотеке, в которой были не только магически звучащие имена Ницше, Иосифа Флавия, Моммзена (когда я похвалялся прочитанным среди книголюбцев, на меня падали лучи славы и зависти, как на царедворца, принятого монархом), но и немало литературных раритетов, в том числе прижизненные издания тех, кого лишили жизни или только читателей, кто теперь входил в моду или был известен еще только в «узких кругах». Отношение Петра Наумовича к книгам было благоговейным. Место каждой (в каком шкафу, на какой полке, с какого края) было аккуратно записано, для чего имелось несколько толстых тетрадей, доставалась книга не спеша, сначала освобождалось место, так, чтобы не тянуть за корешок, потом она перекладывалась с ладони на ладонь, как горячий пирожок, чтобы дать рукам ощутить ее ласковый вес, материю переплета, потом она обнюхивалась: так алкоголик, прежде чем хлебнуть, пьянея от предчувствия, наслаждается ароматом многообещающего напитка. Страницы переворачивались бережно: не дай Бог, повредить, особенно пожелтевшие страницы старинных книг, и после каждого поворота его жесткая ладонь нежно, едва касаясь, проводила по буквам... Собственно, тут мы и сошлись, на этой общей любви к письменности.

И все же самым главным моим «интересом» во всей этой системе отношений была близость к Лене. Тогда, на следующий день после нашего неожиданного знакомства, она пришла-таки на соревнования, с каким-то парнем, который, презрительно улыбаясь, демонстративно отворачивался от ринга. Нет нужды говорить, что это был лучший бой в моей жизни. Пусть я его проиграл, противник был явно сильнее, но дрался я вдохновенно! Никифоров лично мне ассистировал: утирал мокрым полотенцем лицо своими дрожащими руками (он страдал Паркинсоном) и что-то кричал, показывая, как, мол, надо с противником разобратся: крюка ему, крюка снизу, он руки высоко держит. Руки-то плечистый и тонконогий враг держал высоко, это я и сам понял, да больно шустро башкой крутил, не попадешь, да и не мог я сосредоточиться на том, что разгневанно кричал мне Никифоров, голова гудела — и от ударов, и от какого-то пьяного вдохновения, сродни поэтическому, будто перед тобой стадион ревущий, и никак нельзя ударить лицом в грязь... После боя Никифоров сказал, что если я продолжу в таком же духе, он меня через полгода запустит в серьезные турниры. Я быстро-быстро ополоснулся в душе, оглядел опухшую губу и ссадину под бровью — синяк будет, махнул рукой (в общем, легко отделался) и выбежал из раздевалки, но ее не было. Я тут же «поплыл», как говорят боксеры, еще не научился держать такие удары, но на следующий день она меня по-королевски вознаградила: подошла к нашей компании, поздоровалась со всеми, сказала мне спасибо, она не думала, что ей будет так интересно, ну, и всякое такое. Если бы вдруг объявили, что я получил Нобелевскую по литературе, мои акции среди приятелей не смогли бы подняться выше. Даже год спустя ко мне еще подходили мало-знакомые люди и спрашивали: ну что, трахнул Хари-

тонову? Я реагировал с неизменной драчливостью, что для сметливых было неопровержимым доказательством моего успеха.

Потом я пригласил ее на вечер Вознесенского: после ринга уже можно переходить к стихам — сочетание действует безотказно, потом на «Евангелие от Матфея» Пазолини, в Дом актера, закрытый просмотр, уж я расстарался, уж я надыбал билетки! Пазолини и его евангелие я «догнал» только через тридцать лет, а тогда эти черно-белые (а они палевые, палевые!) каменистые пейзажи, по которым я потом буду ползать с винтовочкой (кто бы знал!), и этот пророк ресентимента, который в последнее время дразнит мое воображение, мало меня занимали, я сидел рядом с ней не дыша и думал: если я возьму ее за руку, это будет смелостью или ребячеством?

Увы, на этом совместные выходы в свет прервались — у нее началась финишная прямая перед защитой диплома, но мы виделись, когда я заходил в гости к Петру Наумовичу.

Конечно, я был влюблен, но при этом ощущал какую-то странную атрофию чувственности. В ее присутствии я будто погружался в эфирное облако радости, которая действовала на «нижний этаж», как анестезия. Но когда мы расставались, и я, приходя в себя, начинал анализировать свое поведение, то не мог объяснить его иначе как нерешительностью, страхом, а здесь действительно присутствовал какой-то глубинный страх, я это чувствовал, и бичевал себя, и ненавидел за «слабость», боялся, что и она в глубине души меня презирает, считает мальчишкой... Но когда мы встречались, все отступало, все страхи, сомнения и самобичевания, я погружался в это облако радости, и мне казалось, как сказал поэт, что «нет иного счастья и не надо».

В начале июня Лена вдруг предложила мне поехать на дачу. Надо было что-то приготовить для лета, что-то отвезти, что-то забрать в Москву, не мог бы я помочь, и потом она одна боится.

Я помню этот день до мельчайших подробностей. На вокзале моросил дождь, но потом распогодилось, и пролетающие за окном леса, сады, избы, платформы — все было вымыто, забрызгано солнцем, разлетевшимся на мириады сияющих капель, блестело глянцевой зеленью, куталось в нежно-белый и розоватый дым цветения... На станции, у туго спеленатых в серые платки мумий, купили свежий лук, редиску, помидоры (бутерброды с сыром везли с собой), потом долго шли по расхлябанной, вспаханной шинами дороге, мои новые ботинки («Ты что, в новых ботинках?! Мы ж не на танцы!») облипли грязью, никто не попадался навстречу. Она, подражая деревенским, стянула лицо серебристо-синей косынкой, которая до этого была повязана на шее, как пионерский галстук, и, демонстрируя мне новый наряд, весело улыбнулась, и вдруг ее лицо показалось мне таким милым в своей неожиданной простоте, таким родным и близким, что я тут же, посреди дороги, которая шла по окраине луга, за лугом — лес, посреди весеннего, безлюдного мира, неожиданно для самого себя обнял ее.

Может быть, потому, что это произошло так внезапно (внезапное счастье — самое сладкое) а, главное, так естественно, я с радостным удивлением, в первый и единственный раз в жизни почувствовал, что больше ничего не боюсь и что жизнь не враг мне, которого нужно обмануть, подчинить, победить, я почувствовал какую-то — иного слова не подберешь — гармонию с миром, какую-то странную легкость. Я даже и не знал, что так может быть, мне и сейчас с трудом в это верится. (Но интересно: от этой радости не осталось стихов,

вдохновляла меня только печаль.) Я все время смотрелся в зеркало, пытаюсь понять, чем же оказался столь привлекателен? Хотелось петь и танцевать, и все эти дни я пел и танцевал, и крутился перед зеркалом, так что даже папа спросил: «Влюбился, что ль? Смотри, шиксу¹ не приведи».

Я позвонил на следующий день вечером. Ее не было. Вера Петровна сказала, что она ушла к подруге заниматься. На следующий день ее тоже не было. На этот раз подошел Петр Наумович. Я попросил его передать Лене, что я звонил. «Заходи», — сказал он. Я сказал, что сегодня никак не могу, но на неделе заскочу. Не хотелось как-то в обход лезть ей на глаза. Тем более, что она не позвонила. Я обиделся. Позвонил через два дня, уже озабоченный. Что-то здесь не так. Ну да, у нее защита на носу, но по телефону-то можно поговорить... Трубку поднял Петр Наумович. Я и в тот раз заметил, что голос у него был какой-то... виноватый что ли, а на этот раз он был и не такой приветливый, как обычно, даже неискренний: «Нет ее. Всё с этим... дипломом...»

Я пошел к ним на защиту, увидел ее издалека, в возбужденной толпе дипломников. Как бы проходя мимо, помахал рукой, она заметила меня и приветливо улыбнулась. Крикнул: «Ни пуха ни пера!» «Иди, сам знаешь куда!» — крикнула она в ответ, нервно смеясь. Потом я вернулся, надеясь перехватить её после защиты, но удача от меня отвернулась, крутиться же среди ее однокашников, тем более расспрашивать, намекая тем самым на особые с ней отношения, я не решился. Позвонил вечером, ну просто, по-товарищески, узнать, как прошла защита. Голос Веры Петровны был радостный: «Защитилась, защитилась! Спасибо, что позвонили! Я непременно ей передам». Ну, допустим, день она «об-

¹ Уничижительное название женщины-нееврейки (*идиш*).

мывала», день отсыпалась. Вечером я попытался попроситься к Петру Наумовичу, сказал, что хочу вернуть ему Дельбрука. Но к моему изумлению Петр Наумович сказал, что он приболел. «А как Лена, — спросил я, — спит еще?» — «Спит? Да она уж два дня как уехала». — «Уехала?!» — я был ошарашен. — «На недельку», — успокоил меня Петр Наумович. «Куда?» — спросил я бесчувственно, почти машинально. «В Таллин, путевка какая-то». До меня, наконец, дошло, что меня не хотят видеть. Не важно, по какой причине. И, цепляясь за крохи мужской гордости, я решил, что всё. Это помогло мне кое-как сдать оставшиеся экзамены и не вылететь из проклятого института.

Я не звонил две недели, за это время прошла война, «наша взяла», и меня тянуло позвонить Петру Наумовичу, поделиться, расспросить, и потом я должен был вернуть ему Дельбрука, но я «держал себя в руках». А когда эти две недели прошли, она вдруг позвонила сама. Как ни в чем не бывало. Спросила: «Ну, сдал сессию?»

— Со скрипом. Лишили стипендии...

— Ничего, на следующей сессии вернешь, ты же способный.

— Да? Не знаю...

— Способный, способный. А срывы — это бывает.

— Да, бывает, — сказал я многозначительно.

— Не хочешь погулять?

— Погулять?..

— А еще лучше — приезжай к нам. Дед на даче, мамы допоздна не будет.

Когда я вошел, она обняла меня и поцеловала.

— Ух, как я соскучилась!..

И меня, со всеми обидами, потянуло в воронку любви, и я закружился в ней круг за кругом, все быстрее и быстрее... Не знаю, сколько прошло времени. Мы лежали рядом, уже разделенные, только ее рука на мо-

ем предплечье. Мир проявился: небольшая комната, низкая тахта, этажерки с книгами, в основном учебниками, хула-хуп у стены, портрет Хемингуэя в свитере на всю стену.

— Почти месяц не виделась, — сказал я с легким упреком.

— Да...

— Какие новости?

— Да много всякого... Иду работать в Институт Телевидения. Чудом попала, я очень довольна.

— Молодец.

— А ты чего делал?

— Стихи писал, — сказал я ворчливо.

Она усмехнулась:

— А я вдруг поняла, что очень хочу тебя видеть...

— Когда ж ты это поняла?

— Вчера. Или даже позавчера.

— Что ж такое произошло позавчера?

— Замуж вышла.

— В каком смысле?

— В каком смысле выходят замуж.

Помолчали. Я не знал, как мне расценить ситуацию и как вести себя дальше.

— И что... он...

— Да с ним все в порядке, он классный мужик, будет хорошим мужем, я его люблю. Но дело не в этом, я вдруг почувствовала, что ты мне нужен... Что я не могу без тебя. Твои руки, как ты меня ласкаешь... И вообще... Даже стихи... вот, перечитала то, что ты мне написал и... позвонила.

Вот так, едва начавшись, кончилась моя «любовь», и начался первый роман с замужней женщиной.

Прежде всего, он научил меня тому, что нечего рассчитывать на то, что ты единственный (я даже не был единственным любовником).

Почувствовать себя «Единственным», ощутить значимость собственного существования — вот что привлекает мужчину в любви с женщиной. Любовь — грелка для тщеславия.

Где-то в конце сентября она уехала в Алжир. Муж, старше ее года на три (она все-таки показала его фотографию), высокий, деревенского вида парень, типичная «опора режима», закончил закрытый институт военных переводчиков (арабский-французский) и работал в МИДе. К зиме Вера Петровна тоже вышла замуж и переехала к мужу, и Петр Наумович остался один. Немного сник, но режим по-прежнему соблюдал («Главное — дисциплина!»): два раза в день легкая зарядка с гантелями (килограмма три), всегда тщательно выбрит и аккуратно одет, даже дома. Иногда я помогал ему «по интендантской части», иногда мы вместе прогуливались до парка ЦДСА. Но со временем я стал заходить все реже — загульное было время, да и наши разговоры шли как-то по кругу: евреи, смерть, история, повторяясь и уже раздражая меня — я становился злым и циничным. Однажды застал у него двух странных иудеев в драных заячьих шапках, которые они не снимали, подумал: уж не собрался ли старик в самом деле иудаизм принять? Он не отпустил меня (я зашел отдать очередную порцию книг), а когда они ушли, достал свою наливочку, остатки...

— Давай-ка выпьем. ... Я письмо получил от Ленки. Фактически первое письмо. Были еще две открытки... Спрашивает, заходишь ли ты. Кажется, и этим письмом я обязан тебе... А Вера не заходит. Звонит иногда, спрашивает, не надо ли чего. А евреи вот заходят. Да, верующие, но это по книжным делам. Я ведь библиотеку

продаю. Не всю, так, по книжке... Деньги нужны. Квартиру убирать надо, готовить. Они мне и женщину нашли, евреечку, ничего так, не старая еще...

Однажды мы шли по бульвару, мимо цирка Дурова к парку, знакомые с отрочества места, была хорошая погода: прохладно и солнечно, слетала последняя листва, и живописная грязь тропинок невольно наводила на мысль о палитре художника.

— Я в последнее время стал хуже видеть, — сказал Петр Наумович, — перехожу иногда Садовое, и потоки машин сливаются в такое цветное мелькание, вроде листопада... А ты о смерти думаешь?

Я смутился. Он заметил это и сказал:

— Нет, это не потому, что старость, я в юности гораздо больше думал о смерти. Хотя гораздо меньше ее боялся... Скажи, ты собираешься уезжать? — вдруг спросил он со своей обычной прямоотой римлянина.

Я сделал вид, что не понял, куда он клонит, и стал придуриваться:

— Куда?

— Куда-куда, в Израиль, — произнес он с ударением на последнем слог, передразнивая государственных руководителей.

Борьба за эмиграцию уже шла во всю, и я, конечно, думал об этом, но уезжать не хотел. О чем и сказал ему.

— Почему?

— Не знаю... И люблю эту бедную землю, оттого что другой не видал...

— История этой державы заканчивается. Заходит в тупик. Надо думать о будущем.

— Об «историческом», что ли? Какое мне дело до истории? А если я просто хочу стихи писать и, кроме как по-русски, ни на каком языке не смогу? Это как без души остаться.

— «Душа»! — произнёс он с сарказмом, почти зло. — Так ты ничего про историю и не понял. Душа и есть — история. Так что, выбрав историю, выбирают и душу. Не всегда есть свобода выбора, но если она есть...

— А чем русская история плоха? Раз уж родился в России...

— То, что мы называем «Россией» — это всего полтора столетия лет онемеченной имперской государственности от Екатерины до Октября. Русские государства вообще создавались либо варягами, либо монголами, да да, монгольское «иго» — эпоха консолидации русской государственности, либо немцами. А этот Египет, — он кивнул в сторону, — держался только благодаря еврейским мамлюкам. Советское государство было еврейской мечтой, но когда их от мечты отлучили, этот механизм потерял пружинку. Еще четверть века и — стоп машина, жди новой управы. У русских нет мифа, ради которого стоит жить, я уж не говорю — умирать, религия — служанка власти, и если завтра победят мусульмане, русские будут молиться Магомету, как молились Сталину после Христа. Чаадаев писал, что если бы мы не раскинулись от Одера до Берингова пролива, нас бы просто не заметили. Чаадаева надо учить наизусть! Он первый, и чуть ли не единственный, кто решился сказать, что русская история бездарна. А бездарность не может существовать вечно. И конец уже близок. Конец истории и конец души, той самой «русской души», с которой ты носишься как с писаной торбой. Ты вот спрашивал, почему меня так интересуют евреи. А потому что еврейская история — это вызов судьбе, вечный вызов всему и всем, это единственная пьеса, которая отказывается сойти с исторической сцены, потому что это подлинная трагедия гибели и возрождения, и евреи продолжают ставить её в каждом поколении. И это зрелище вдохновляет, вселяет надежду...

— Ну, это уже какая-то эстетизация истории, вы подходите к ней, как зритель к театральному представлению — ищите в ней вдохновения. А в истории приходится жить. Вряд ли вам захочется сейчас вернуться в годы войны, хотя через сотню лет все эти ужасы станут «величественным зрелищем». Если бы человеку можно было выбирать страну и историю, то каждый выбрал бы Швейцарию.

— Ты не прав. Вдохновение — не для праздности, не для развлечения, это жизненная необходимость. Жизнь должна вдохновлять, или — кончен бал. И это вдохновение может дать только история.

— А любовь?

— Любовь... Любовь скорее относится к опьянению... Нет-нет, любовь лишь иллюзия вдохновения, обманка. Сильная, но кратковременная. Я бы сказал сезонная. Любовь может быть вдохновением жизни только для женщины.

Когда Лена вернулась, я уже был женат. Но все началось снова. Первое время мы маялись по чужим квартирам, но потом «поселились» у Петра Наумовича. Поначалу я чувствовал себя довольно неловко: ведь мы явочным порядком поставили его в двусмысленное положение, но она уверяла, что «всё путем». И действительно, со временем все освоились с новой ситуацией и даже привыкли к ее очевидным выгодам, для каждого — своим. Он, стараясь избавить нас (да и себя, надо полагать) от лишних неловкостей, отправлялся перед нашим приходом на прогулку, а мы старались не шуметь, когда он возвращался, шебуршились, как мыши, в своем углу.

В первый раз мне было странно оказаться вновь в ее комнате. Я был в ней только раз до ее приезда: мы с Петром Наумовичем перетаскивали сюда картонные

коробки с его бумагами: все тот же Хем на стене, те же книги, уже под нежной шубкой пыли, тот же хула-хуп в углу. С тех пор ничего не изменилось, даже коробки остались, только с книг и дивана исчезла пыль. В тот первый раз так вышло, что после трудов праведных я забылся коротким сном, а, открыв глаза, увидел, как она, запустив хула-хуп вокруг талии, качается посреди комнаты, как смерч в пустыне... Когда она заметила, что я смотрю на нее, улыбаясь, хула-хуп с грохотом упал, и она со смехом и кулаками бросилась на меня...

Никаких ожиданий, никаких мечтаний в этой любви не осталось, кроме загадки непреодолимой тяги друг к другу. Неожиданно «телесное» заполнило все. Она говорила: «Я завишу от твоего тела...» Я зависел от ее тела не меньше. Приползая домой и отодвинувшись от жены, я не спал ночь, все еще чувствуя ее, и чем дальше, тем чаще говорил себе: всё, пора завязывать, а через день звонил ей и говорил: «Я тебя люблю», и она шептала мне: «И я тебя. Я счастлива...» Нет, она не была счастлива, хотя всегда прибегала на свиданья веселая, и мы часто давились от смеха на ее старом, неудобном диване — не дай Бог, Петр Наумович услышит.

«Я хочу в тебя проникнуть, — говорила она. — Это несправедливо: ты можешь в меня проникнуть, а я в тебя не могу! Мне иногда хочется разъять твою грудь и залезть туда, и там лежать около сердца, свернувшись калачиком».

А потом она снова уехала, уже во Францию. Петр Наумович постепенно сдавал, глаза выцвели и слезились, я отворачивал глаза: это быстрое старение даже не пугало, а смущало, будто подглядывал за крадущейся смертью. Я перестал к нему ездить: мы тогда перебрались в другой конец города, и вообще жизнь уносила в другую сторону, затягивала в плотный водо-

ворот дел житейских, и мне казалось, что она меня перемалывает... Однажды я завел с Вадимом разговор на тему «так дальше жить нельзя». Он понял буквально-революционно и, усмехнувшись, ответил:

— Так ведь мясо будут крючьями рвать. Жалко молодое тело!

Но я имел в виду другое: какое-то тоскливое беспокойство о себе, о том, что, может, самое лучшее во мне погибает...

Мы были молодые, сильные и красивые. Сексуальная революция осенила нас своим мятежным крылом. Народ мстил угнетателям отчаянным распутством. Пустые дачи оглашались по ночам трезвоном гитар и пьяными песнопениями. Это была какая-то непрерывная отходная, я воображал, что прощаюсь с Россией, и, уже пьяный вечностью предстоящей разлуки, жадно глотая холодный ветер в выбитых окнах тамбура, цеплялся абордажными крючьями души за ее осеннюю распутицу, облезлые перелески, за ее пепельноволосых, сероглазых и отзывчивых дев. И стихи, стихи между стаканами, поцелуями и признаниями, в каком-то сплошном вдохновении перелома. Я прощался с Россией, чтобы не думать, что прощаюсь с самим собой. Уйти! Сломать судьбу! Пройти сквозь сеть. Сорваться, как табун в глухую степь...

В октябре 73-го, когда я метался по дождливой Москве, не находя себе места: «там» шла война, и исход ее был неясен (тогда я впервые осознал, вернее, почувствовал, что ведь если Государство не выстоит, то и мне жизни не будет на этой земле, изведут угрызения, и тогда же обет дал: выстоит — уеду), Петр Наумович вдруг позвонил: «Зайди. Ты мне нужен».

В его облике была прежняя энергичность, деловитость, какая-то особая собранность. Он подвел меня к большой картонной коробке: «Здесь книга. Почти за-

конченная. Я хочу переправить ее за границу. Еще там, у Ленки в комнате, — архив, но это потом. У тебя есть знакомые, связанные с отъездными делами? Отказники? А еще лучше — которые якшаются с корреспондентами?» — «Это дело небезопасное», — промямлил я. «Жить, голубчик, вообще опасно. Так есть у тебя такие знакомые? Я еще могу этому журналу, «Евреи в СССР», подкинуть интересные вещи». — «Честно говоря, таких знакомых у меня нет...» — «А ты еще не начал учить иврит?» Поразившись тому, что он предугадал мои намерения, пока еще смутные, я сказал, что нет, не начал еще. «Жалко... Если бы я книгу переправил, я бы чувствовал себя свободней...» — «На Сенатскую потянуло», — съязвил я. Чувствуя себя стариком, я на «прекрасные порывы» и всякую там «молодость духа» стал реагировать раздраженно. Он сказал: «Да. Мочи уж нет сидеть в четырех стенах, смотреть на этот заматеревший маразм... Ты пойми, это жуткая глупость: поднимать Восток на Запад и надеяться возглавить этот мутный поток, он зальет нас первых, Восток это бездна, всегда готовая слопать Россию, а Израиль — форпост цивилизации на краю пустыни... Хочу вот демонстрацию организовать...» — «Какую демонстрацию?!» — испугался я. «Обыкновенную. Выйду в парадной форме к Мавзолею и разверну лозунг». — «Какой лозунг...» — я совсем обалдел. «А вот». Он уже и лозунг соорудил: к двум палкам была приклеена простыня два на полтора, на которой от руки было нарисовано черной краской: «Руки прочь от Израиля!» — «Вы что, Петр Наумович, с ума сошли?!» — рубанул я, удивившись собственной грубости. Он мрачно посмотрел на меня: «Не хочешь помочь — твоя воля. Я и сам выйду на кого нужно. Будь здоров». Я попытался что-то объяснить ему, разгорячился, но он сухо и решительно дал понять, что разговаривать больше не о чем.

Я решился на двусмысленный шаг: выдал Петра Наумовича его дочери. Она как-то дала мне свой телефон, на всякий случай, если с ним что-то случится, я позвонил и сказал, что у Петра Наумовича возникла некая идея общественного протеста, стоит отговорить его от этой затеи, мне, к сожалению не удалось. Она выслушала молча и абсолютно отчужденно произнесла: «Спасибо, что позвонили». Через несколько дней Киссинджер добился прекращения огня, и я решил, что все как-то само собой «утряслось». Но телефон у Петра Наумовича не отвечал. И так прошло около месяца, а потом вдруг позвонила Лена и сказала: «Дед умер. Неделю назад. Конечно, похоронили. Он тебе что-то вроде наследства оставил, подъезжай сегодня, если можешь, пока я еще тут...» Я приехал. Квартира была почти пуста: ни старинных книжных шкафов, ни буфета с наливочкой, ни дивана. Вера Петровна донельзя растолстела, с трудом узнал. Был еще ее муж, грузный мужик с мордой барбоса, он смотрел на меня настороженно и неприязненно. На столе лежал Танах¹, красивое дореволюционное издание. В книгу была вложена записка крупными буквами: «Это Науму», и номер моего телефона. И приписка: «Поклянись, что выучишь язык и прочтешь».

Поблагодарив, я выразил сожаление, что вовремя не узнал о смерти и не смог отдать покойному последний долг.

— А отчего он умер?

— Простудился, — лаконично и еще более сухо, чем по телефону, ответила Вера Петровна.

Я помялся, но все-таки сказал: «Петр Наумович писал книгу... Если эти материалы вам не нужны, то... Не

¹ Ветхий Завет (*ивр.*), акроним заголовков трех его частей: Тора, Пророки, Писания.

хотелось бы, чтобы они пропали». Барбос, с трудом умещавшийся в кресле, стал нервно ерзать, отчего старое кресло жалобно заскрипело.

— Вы знаете, — сказала Вера Петровна, — все материалы, по воле отца, мы отдали в архив Академии...

Мне показалось, что она врёт, но что я мог поделаться. Лена сидела в углу, подурневшая, и безучастно молчала. Когда я вежливо попрощался (барбос при этом и не пошевелился), она вызвалась меня проводить. Я даже не обнял ее на лестнице, такой знакомой. Будто клей, которым мы были склеены все эти годы, вдруг растворился. «Ты что, беременна?» — вдруг догадался я. «Ага...»

На улице было многолюдно и шумно, и стало окончательно ясно, что мы теперь в этом космосе — каждый сам по себе. «Дед учудил в конце», — сказала она. — Решил на Красную площадь с каким-то плакатом выйти. Мать чудом его перехватила. Говорит, у нее какое-то предчувствие было. Зашла вроде просто так, а тут — какой-то плакат. Ты знаешь, что там было написано? «Руки прочь от Израиля!» — Она хихикнула. — Представляешь, чем бы это все кончилось, и для него, и для нас?! Какой скандал был бы, ужас... Потом ему плохо стало...» Помолчали. «Так что, архив действительно в Академию сдали?» — спросил я.

Мимо проехал мусоросборник. Лена проводила его рассеянным взглядом и устало произнесла: «Да какая Академия. Просто мать все к черту выбросила».

ХИМЕРЫ

В салон «старушки» меня ввел Зюс. Он крутился во всех модных салонах тогдашней Москвы, взаллеб рас­сказывая мне о своей «звездной» жизни. У меня слюнки текли от зависти, иной раз зубами скрипел, чтобы не попроситься (ждал, ждал, гад, моего унижения!), но двоюродный братан и друг детства держал свои свет­ские карты близко к орденам, во всяком случае — от меня подальше.

У «старушки» собирались танцоры и танцовщицы, художники и евреи. Некоторые — в двух, а то и во всех трех ипостасях. Хозяйка была когда-то знаменитой балериной и находилась в дружеских, семейных и любов­ных отношениях со знаменитыми людьми ушедшей эпохи, в основном «из мира балета». Имена великих по­становщиков, художников и исполнителей часто по­вторылись за большим столом, накрытым для тради­ционного чаепития и близко придвинутым к огромной кровати-пьедесталу, которую «старушка» не покидала: в конце тридцатых ее переехал трамвай, и она осталась без ног. «Других таких ножек в Москве нет», — выра­зился один замечательный художник. Над кроватью висело его огромное полотно «Турчанка», которое яв­лялось почти зеркальным отображением того, что бы­ло на кровати: орнамента и расцветки подушек и оде­ял, и, конечно, — самой героини, которая возлежала в тех же что и на картине зеленых с золотом одеждах, старательно повторяя позу «турчанки» и высоко держа головку с ярко накрашенным лицом, как бы приглашая

посетителей отметить сходство с портретом. На неизбежно возникающие вопросы отвечалось с загадочной уклончивостью, но ходили слухи о другой картине, скрытой от посторонних глаз, повторяющей композицию парадного произведения, но на которой героиня изображена обнаженной, так сказать «Маха одетая» и «Маха раздетая».

Все эти легенды Зюс рассказывал мне настолько настойчиво, ко всему еще расписывая привлекательность тамошних дев и свободу их нравов, что я однажды поддался на его провокации и как можно небрежней бросил: «Ну, так познакомь». В ответ пошли объяснения трудностей этой процедуры, какой тщательный фильтр в этом салоне, «лишь бы кого не приведешь», но для меня он постарается, свои же люди. Мерси-мерси.

А потом он, как бы невзначай, спросил, общаюсь ли я еще с той девицей, которую он видел на нашей последней вечеринке, Алла, кажется, ее звали? На «нашей», это на нашей с Вадимом. Вечеринки эти нельзя было назвать «светскими»: девицы были совершенно случайные и отбирались по одному единственному критерию: «можно трахнуть». Ловили мы их в кафе, на улицах, на танцах, в кино, да где угодно, и пропускали через чистилище вот таких «вчетверинок» (чаще всего собирались вчетвером), а потом уж как карма ляжет. Обычно на этой проверке все и заканчивалось, даже если и давали сразу, и не потому что очередная девица была так уж плоха, или неинтересна, а просто невозможно было остановить «конвейер», и следующая автоматически вытесняла предыдущую. Хотя, естественно, кое-кто, в силу тех или иных особенностей, оставался в «золотом фонде». Иногда, особенно по праздникам, сборища были с расширенным кругом участников, порой и нас (или кого-то из нас) приглашали, да еще про-

сили «привести мальчиков». В таких случаях, если не имелось под рукой более ценного кадра, я приглашал Зюса, и он регулярно западал на тут или иную участницу, преследуя ее звонками, приглашениями на закрытые кинопросмотры, выставки подпольных художников и даже на какие-то «тайные» спектакли по подвалам — такой уж братан Зюс был дружок муз. Но с девицами ему не очень везло, хотя, если взглядеться, его можно было назвать даже красивым: ладная фигурка, аккуратные, почти кукольные черты лица, увы, слишком, однако, мелкие, чтобы можно было их издали рассмотреть... Он крайне ценил ту девичью карусель, которая постоянно крутилась вокруг нас с Вадимом, и время от времени, хотя и скупое, обменивал наши половые связи на свои светские. Так я попал к «старушке».

За столом было человек десять, по непринужденности их общения, по тому, как они бесцеремонно разливали чай из блестящего, пузатого самовара и лакали варенье из изящных розеток, можно было представить себе, что это «ближний» круг. В цветнике из девиц и женщин от 20 до 50 сидел гидроцефал средних лет, который, смеясь, рассказывал сплетню. Зюс подвел меня к кровати и представил, как «талантливого поэта». Мерси-мерси. «Старушка» явно оживилась и бросила на меня какой-то совсем не старушечий взгляд прозрачно-бесцветных глаз. С таким «раздевающим» женским взглядом я не часто сталкивался. У нее было худое лицо неопределенного возраста, сильно набеленное и раскрашенное, казавшееся при ярком свете люстры жутковатой маской.

— Печатаетесь?

— Никак нет.

— Неофициоз, — сообщил Зюс, полунаклонившись к «старушке» и напустив на себя таинственность.

— Да? Любопытно. Почитайте что-нибудь.

Я почувствовал себя безбилетником, которого сцапал контролер (в отрочестве мы с Зюсом всегда ездили зайцем и в кино ходили только на протырку).

— Не стоит... — Зюс склонился еще ближе к «старушке» и заговорил почти шопотом, — все-таки...

— Здесь все свои, — сказал «старушка».

— Почитайте, почитайте! — раздались голоса.

Вот удружил братан. Но делать было нечего, пришлось расплачиваться за талон на место у колонн. Прочитал «На крупах медных буцефалов растаял снег...». Восприняли благосклонно. «Старушка» даже захлопала: «Замечательно! «Учись у старых ловеласов пренебрегать борьбою классов!» Это прелестно!» Засмеялась.

— Пожалуйста, еще почитайте, мы вас так не отпустим!

Я приободрился и прочитал «Царит на улицах пустынных тонкий смрад апрельской сырости...». Шумный успех. В итоге получился целый творческий вечер на полчаса, в общем-то, первый в моей жизни. Были читки по кругу в студии, но обычно по два-три стихотворения, и потом, все фактически читали руководителю студии, нежно-румяному Волгину, а друг другу читали на особых поэтических сборищах-пьянках, но это было «среди своих», а тут настоящая «аудитория»... Вздвинутого до потери ориентировки, меня усадили за стол и угостили чаем с вареньем. Разговор за столом поплыл дальше, и я почувствовал, что экзамен сдан.

В этот вечер я познакомился с тремя — неплохой урожай. С Таней, блондинкой лет двадцати с длинными прямыми волосами и отрешенным, как будто сосредоточенным на своей беременности, личиком фламандской мадонны, с пышнотелой, но перезрелой (лет со-рока) Эльвирой, кандидатом эстетических наук, пишу-

щей работу о том самом знаменитом художнике, чья «Турчанка» красовалась над ложем «старушки», и смуглой (я мысленно окрестил ее «цыганкой»), энергичной, с крепкими ножками, Милой. Таня работала в мастерской известного советского скульптора и сумела разозлить меня своим высокомерием, телефон даже не дала, только, оглядев каким-то грубо оценивающим взглядом мою молодецкую фигуру, пригласила в мастерскую патрона, еще удивившись, что я не знаю ее адреса. У Милы были густые «восточные» брови, несколько квадратное лицо (я вообще не люблю восточных женщин), она была некрасива, но зато радушна и непосредственна, и явно проявила ко мне интерес. Как видно, она имела какое-то родственное отношение к «старушке» и распоряжалась в доме по интендантской части.

Начать я решил с эстетички, этот объект показался мне самым беспронитывным и беззаботным (минимальная затрата энергии и средств на предварительные игры ценилась больше всего), тем более, что и она «клюнула»:

— Мне очень понравились ваши стихи.

— Спасибо.

— Нет, правда. И вы не пытались напечататься?

— Пытался.

— Каким образом?

— В «Юность» относил. В «Работницу». Показывал разным... Да у нас сборник студийцев уже два раза рассыпали, а там есть ребята очень крепкие, я по сравнению с ними...

— Зря скромничаете. Скромность вредит поэту.

— Я не скромничаю, я объективно...

— Объективность — это миф. Как заявите о себе, так и зашагаете, а будете прятаться за спины «старших товарищей», так и останетесь во втором ряду.

— Бернард Шоу, кажется, говорил, что «останется» тот, кто дольше проживет.

Она улыбнулась.

— Хотите, я покажу ваши стихи Т.? Если пригласятся ему, то...

— Я не против...

— Запишите мой телефон.

Через пару дней я позвонил, пригласил в кино, но мне было сказано, что времени шлаться по кино у научных работников нет, но я могу заскочить к ней домой, да хоть сегодня, и чтобы стихи не забыл. Окрыленный быстрым успехом (никаких сомнений в том, что меня не чаи гонять пригласили) и одурманенный фантазиями о пышнотелой и должно быть многопытной Эльвире (несколько беспокоило отсутствие разведданных о ее семейном положении, но, предположительно, оно должно было быть неопределенным), я трясся в заиндевавшем трамвае, дело было в морозном и ветреном феврале, и почти не заметил, как рядом со мной ухватилась за поручень чья-то рука в вязаной рукавичке, и при первом же резком торможении на меня упала ничем не примечательная девица в стареньком, небось ещё материнском пальто с пушистым воротником, с лицом, закутанным шарфом, который сбился и обнажил маленький ротик. Девица, покраснев, извинилась, мы разговорились. Оказалась лаборанткой на химическом заводе, и я потащился провожать ее на край Москвы, в какую-то жуткую рабочую коммуналку, плюнув на Эльвиру, отдав, так сказать, предпочтение молодости. И не прогадал. А когда, притомившись, попытался вздремнуть, то ее нежные и быстрые поцелуи вдруг запорхали по моей спине, как будто ее облюбовал рой бабочек — восхитительное ощущение, и я оказался совершенно пленен этой аристократической лаской. С этого момента мы с Женечкой миловались года

два с перерывами, но с неизменным энтузиазмом: видимо, я как-то угадал под этим нелепым пальто гибкую, тоненькую фигурку и жадную щель, истекающую злым клеем. Энтузиазм, чисто физиологический, был так велик, что она даже решила, что я женюсь на ней, бедная деревенская девочка... Помню, как однажды встречал ее после работы, и когда заметил в клубке девиц ее юркую попку, все во мне, от пояса и ниже, замерло от вожделения и гордыни — моя!

А Эльвире я потом позвонил, извинился, сказал, что подвернул ногу и пока добрался домой уже поздно было и неудобно звонить... Поехал к ней через несколько дней. Она жила в однокомнатной аккуратной квартире: приличная мебель, стены — плотно-плотно в картинах и рисунках, книги, альбомы, в основном иностранные. Такие альбомы были в Москве социально значимы. Пока она готовила чай, я, сев на диван, впился в один из них, какого-то сюрреалиста (в живописи я был неразвит, но старательно «приобщался»). Живопись было не разглядеть: в комнате царил интимный полусумрак — горела только лампа на письменном столе, прикрытая абажуром —, но разрушать эту интимность вовсе не входило в мои намерения. «Что же вы в темноте!» — сказала она, подкатив к дивану столик на колесиках. Я сразу бросил альбом, а то еще, не дай Бог, свет включит, и взялся за чай. Столик на колесиках мне понравился: культурно. Она села рядом, и я, не откладывая дел в долгий ящик (отложив только чай), набросился на нее, как Шерхан на буйвола Раму: слишком долго воображал себе эти пышные тела (да-да, рубенсовские!). В полных женщинах есть своя прелесть, в этом тайном желании утонуть, пропасть в волнах плоти...

Конечно, это был нерасчетливый, а значит и неправильный ход (не надо думать, что мы действовали тогда как-то особенно ловко, или продуманно, нет, ско-

рее наоборот, и неудач было множество, метод был статистический, рыболовецкий: знай себе закидывай сети, кто попался, тот и молодец, а прорехи чинить — дело плебейское, чего мелочиться, вона рыбы-то в море сколько!).

Эльвира не то чтобы возмутилась, но отнеслась к моему наскоку со снисходительным пренебрежением, мол, понимаю, дело молодое, но я все-таки кандидат эстетических наук... Она мягко, но твердо стряхнула меня с себя, тем более что чисто технически трудно было обхватить ее и тиснуть как следует, выдохнула: «Однако», и перевела беседу на искусствоведческие рельсы. Показала большой иностранный альбом Ф., о котором пишет работу, сказала, что это великий художник, к сожалению, малодоступный для зрителя, назвала его Мандельштамом в живописи, что судьба его, после того как вернулся в СССР, была трагичной, а я с удивлением обнаружил в альбоме «Турчанку» и «Автопортрет в тибетейке», висевший у «старушки» на противоположной стене. Сказала, что на днях увидит Т. и покажет ему мои стихи, вновь повторила, что они достойны публикации, поучала, что очень важно публиковаться, мол, дорога ложка к обеду, а я, изобразив революционера, прочитал ей лекцию на тему «служить бы рад, прислуживаться тошно», она возражала: мол, искусство служит народу, а не власти, поэтому, чтоб до народа «дойти», надо уметь власть «обходить», а я ей: устанешь обходить, ну и т.д. Завершив чаепитие и воспользовавшись паузой в дискуссии, я вновь двинулся на штурм рыхлых высот, почти безнадежный, из принципа, на этот раз схватка была долгой и мучительной для обеих сторон, уже и кофточка у нее была расстегнута и одна грудь выпростана из своей лунки в обширном твердом бюстгальтере (вторая так и застряла), и юбка задрана выше пояса, и ноги намяты до синяков, и

даже трусы покосились, но она не сдавалась, глухо и упорно боролась, пыхтела: «Ты сумасшедший, перестань, перестань, ко мне должны прийти, не сейчас, не здесь...» Последние «аргументы» меня особенно возмутили: если «не здесь» и «не сейчас», то когда? В конце концов, органон не выдержал, тем более, что я все время терся об нее, пытаюсь таким образом расшевелить залежалую чувственность, и выплеснул драгоценный жизненный эликсир в холодные просторы Вселенной. И перед всеми пролил семя, так кажется, писал классик. В пролитии эликсира, конечно, не было ничего экстраординарного, сколько уж было пролито понапрасну, буквально походя, но меня удивила ее, после всего, невозмутимость, деловитость и даже какая-то материнская заботливость: принесла полотенце, спросила, не хочу ли принять ванну. Я же был охвачен таким раздражением и омерзением к самому себе, что, кое-как приведя себя в порядок, удрал.

Вы думаете, на этом все кончилось? Отнюдь. Хотя, как я впоследствии убедился, если уж пошло у тебя с человеком, особенно с женщиной, вкривь и вкось, так и будет всегда, лучше судьбу не насиловать. Но именно этого рода отношения с судьбой я как раз и практиковал всю жизнь с маниакальным упорством. Судьба тебе: «нет», а ты все прешь и прешь на нее, все тянешь трусы вниз, все пытаешься втереться в доверие, зажать, переломить... Вот и с Таней тоже все сложилось премерзко. К великому советскому скульптору я, конечно, зашел, Таня меня представила, мастер, он как раз собирался уходить, предложил мне попозировать ему для какой-то скульптурной группы, за деньги, чинчинарем, расценки у него были соблазнительные, но я чего-то засмутился сдуру, сослался на занятость. «Подумайте, подумайте», — сказал он и убежал. Таня гостеприимно пригласила меня на обзорную экскурсию.

Размеры студии, заставленной скульптурными работами, эскизами, материалами, меня поразили: огромный зал, залитый светом — полкрыши было из стекла — куча подсобных помещений со всякого рода поделками, копиями, учебными формами. Я приглядывался: где бы тут, и как бы этак с максимальной непосредственностью... и когда мы остановились в одной боковой комнате, где было что-то вроде кухни, а на полу валялась пара старых матрасов, я, разыгрывая решительность, хотя эта хладная дева больше злила меня, чем привлекала, обнял ее и полез целоваться, втайне надеясь, что меня презрительно отвергнут. Но Таня неожиданно проявила странную, при абсолютном равнодушии, податливость (вместе с какой-то «академической» заинтересованностью моей наготой, так что у меня даже возникло подозрение, что она таким макаром отбирает шефу натурщиков), и я, желая сбить с нее эту маску непричастности, которую принимал за спесивость, завалил анемичную мадонну на эти матрасы и воленс-ноленс завладел чужеродным телом. Кажется и для нее самой оно было не вполне родным. На все мои напыщенные старания она только что-то невнятное промывчала один раз, и, может быть!, или мне показалось, лицо ее едва порозовело, будто холодный ветерок обжег щеки спящей красавицы. Я ушел просто взбешенный.

Зато цыганочка Мила позвонила мне сама. (У Зюса что ль телефон взяла? Зюс мне об этом не доложил.) Пригласила в кино, в кинотеатр «Варшавский», на «Зеркало». Я уже видел этот фильм, но пошел, все равно ничего в первый раз не понял. Тогда все говорили о «Зеркале», спорили и мы после фильма: она считала, что «поэтично», а я говорил: «выпендривается». В метро, в плотно набитом вагоне нас прижало друг к другу, я обнял ее, и мы всю дорогу це-

ловались. «Хочешь зайти?» — спросила она у своего парадного. «Только очень тихо, я не хочу чтобы...» Я на цыпочках пробрался в ее комнату.

— Кто-то пришел?! — громко спросила «старушка».

— Это я! — крикнула Мила. — Я сейчас.

— Ты не одна?

— Одна, одна. (Быстро поцеловав меня, она пошла проводить «старушку».)

Я услышал ворчливое: «Поздно уже, ты не оставляй меня так надолго». Мила ей принесла что-то, они поговорили, потом голоса затихли. Было уже двенадцать. Смуглянка моя вернулась, улыбаясь и приложив палец к губам. Достала из-под тахты постельное белье, мы дружно постелили и, дрожа от холода, юркнули под одеяло. Получилось совсем неплохо, мне понравилось, и мы в это дело внесли регулярность. Чаше я приходил днем, когда не было опасности напороться на припозднившихся визитеров, и ровно к назначенному часу, Мила открывала дверь и манила меня пальчиком, а я, с соблюдением всех правил конспирации, пробирался в ее комнату. Надо сказать, что слух, или нюх, у «старушки» был отменный, она частенько спрашивала: «Кто-то пришел?» и вообще всячески теребила Милу, иногда буквально сдергивая ее с меня (не зря подруга любила положение «женщина верхом») очередным капризным требованием. Порой, если Мила не выдерживала (или не успевала вцепиться зубами в простыню, а то и в свою-мою руку — я не без гордости носил эти любовные раны) и из нее вырывался какой-то придушенный вскрик, «старушка» тут же отзывалась громким: «Что случилось?!» Приходилось объяснять нашествием тараканов или мышей, тогда «старушка» тоже начинала испуганно ахать.

Иногда приходилось делать долгие перерывы, когда приезжал Милин многолетний жених (есть, оказы-

вается, такой статус), композитор и музыковед, профессор, автор книг и т.д. Он был старше Милы лет на двадцать с лишним и часто уезжал, причем надолго, то на гастроли (пианиста), то собирать материал для очередной книги. Но, слава Богу, возвращался и блокировал «плейс»: он, собственно, и был родственником «старушки», а Мила там обитала на правах его «почти жены». Я против перерывов не только не возражал, а, честно говоря, был им рад, потому что скоро стал тяготиться ее привязанностью. Когда жених приезжал, она особенно буйствовала и обрывала мне телефон, требуя встреч где угодно. Требовательность приводила к ссорам. Она чувствовала, что я медленно и осторожно пачусь, и для привязки пустила в ход достижения отечественной живописи, переплетенные рассказами о чужих тайнах — меня представили «Махе раздетой». На стол рядом с диваном была поставлена небольшая картина, и чтобы разглядеть ее в полусумраке комнаты мне пришлось подойти вплотную, приблизить глаза, почти войти в нее. Влекущее тело дразнило загадочной непрístupностью (я даже подумал, что художник, бедняга, так вожделенного и не добился); и глаза, прозрачные голубые глаза, куда ни повернись, смотрели на тебя с каким-то уничтожающим вызовом. Я сразу вспомнил тот первый взгляд, который бросила на меня «старушка», когда в ее выцветших глазах вдруг вспыхнуло и испугало меня это гневное сияние. Картина повторяла композицию «Турчанки», и женщина была та же, но... та же, да не та, повторяла, да не совсем. И эта полулежала, опираясь на локоть, но в ее позе было нечто напряженное, будто готовность к прыжку, и шея была чуть более вытянута, что-то коварное, даже уродливое таилось в этой обнаженной диве с хищными голубыми глазами. Я засмотрелся.

— Знаешь, как эта картина называется? — усмехнулась моя цыганка. — «Химера».

— Да, в самом деле, — вдруг догадался я. — Что-то такое...

Тут же было поведано о тайном романе с одним из серых кардиналов державы, который, якобы и подстроил эту ужасную катастрофу с трамваем...

Вот она сила искусства. Кажется, Мила и сама не ожидала такого эффекта и пришла в настоящий восторг от моих стараний преодолеть непреодолимое, а я, трудясь на этой каторжной ниве, нет-нет да и бросал взгляд на ту женщину на картине, взгляд которой постепенно исчезал в густеющих сумерках, хотя я все еще чувствовал его на себе — глубокие шпоры для взмыленного скакуна.

Не знаю, догадалась ли Мила о нашей любви втроем, но, так или иначе, ситуация изменилась: теперь уже я стал искать предлогов для встречи и непременно, будто крайне заинтересованный в тайнах живописи, требовал водрузить над столом гипнотизирующую картину, чтобы время от времени вымалить у неё новый удар шпор... Ситуация изменилась, но не надолго. Я плыл по течению, а течение уносило прочь.

Однажды, после долгого перерыва, вызванного очередным возвращением Одиссея с очередными их спорами о супружестве, мы договорились о свидании на старый лад, правда, на этот раз, сказала она, под дверью ждать не надо, можно позвонить и она откроет. «А что, старушка оглохла?» — спросил я. «Что-то вроде этого», был ответ. Признаться, я соскучился по ее ладному и ловкому телу, но больше по тому мифическому животному на картине... Примчался, позвонил. Открыв, она не приложила палец к губам, и не напомнила жестами о том, что следует снять ботинки, даже хлопнула дверью — в обычном церемониале почему-то отпала

надобность — и сразу в прихожей обняла меня, едва не повалив на старый, скрипучий паркет. «А что со старушкой?», безуспешно пытался я выяснить, отрываясь от ее губ, что, впрочем, мало способствовало прояснению ситуации, потому что она тут же начинала ворковать скороговоркой: «Люблю, люблю, люблю тебя, я тебя люблю, я измучилась, боже мой, как я тебя люблю, ты меня измучил, измучил, люблю, люблю...», восклицала она как-то освобожденно и чересчур громко, что меня, по старой привычке к тишине в этом доме, пугало. «Так что случилось, что со старушкой-то?», — продолжал я свои попытки обрести уверенность в определенности. Наконец, она оторвалась от меня, перевела дух, взяла меня за руку и повела в салон. Прежде всего я бросился взглядом к «Турчанке», ведь я так давно ее не видел... Но одетая «маха» показалась лишь лукавой и изнеженной одалиской в гареме орнаментов. Зато под ней, среди ставшей вдруг нелепой яркости красок, лежала на спине «старушка» и ужасно хрипела, открыв рот. «У нее же... агония!» — ужаснулся и отшатнулся я, когда Мила попыталась подвести меня вплотную к кровати. «Да...» — как-то задумчиво сказала она. «Так она же сейчас умрет!» — «Нет. Она уже третий день так. Врачи говорят, что это может длиться неделями...» Она стояла рядом с кроватью и с пытливостью юной натуралистки глядела на умирающую, не отпуская при этом мою руку, которую я слабо пытался освободить. Что-то кошунственное было в этом наблюдении за чужим умиранием. Я ощутил странную нетвердость в ногах и парализующую смесь страха и сладострастного любопытства. Она потянула меня ближе к кровати, на которой лежала хрипящая кукла, и я поддался, загипнотизированный. В первый раз я видел так близко смерть. В исхудавшем лице «старушки», без обычных слоев белил и красок, проступило вдруг что-то птичье, будто из

кокона «загадочной женщины» вырвалось, наконец, хтоническое чудовище... И этот ужасный хрип, как будто жизнь, которую она еще глотала, не хотела проходить через гортань и трепыхалась там, сопротивляясь... «Я уже привыкла, — сказала Мила. — Смерть — это процесс... — поделилась она своим философским открытием. — Помогает излечиться от некоторых иллюзий...» И покосилась на меня. Вид мой был, наверное, таков, что она усмехнулась, погладила по щеке, а потом, обняв меня за шею, повернула к себе и поцеловала.

Знаешь, что смерть не победить, не объехать, но очень хочется ее выебать.

Видимо, эта мысль одновременно пришла нам в голову, и мы невольно ей поддались. Прогнувшись и опираясь руками на смертный одр, моя подельница слегка приседала и раскачивалась мне навстречу, лицо ее при этом наклонялось так близко к лицу-маске, что показалось будто она, и я вместе с ней — со смертью целуемся... Брезгливый ужас и запретное наслаждение соединились во мне каким-то аннигиляционным взрывом, цветные пятна подушек и одеял в стиле арт-нуво поплыли перед глазами, как речные лилии, голова запрокинулась, и я увидел «Турчанку», утопая в заводи красок, она глядела на нас, иронически улыбаясь, и тут же почувствовал, как натянулось, будто в судороге, все тело моей любовницы, ее буквально вырвало криком, рот жутко раскрылся и почти встретился с открытым ртом умирающей, они словно орали друг на друга — воистину химеры на готических башнях, изрыгающие из себя потоки воды во время долгих дождей.

ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ

Светло-серый плащ на мне потемнел от дождя, волосы слиплись и превратились в водостоки. Зонт я не захватил и, как всегда, опаздывал. Она стояла под навесом, беспокойно оглядываясь по сторонам, высокая, в пальто на все случаи жизни, в тяжелой, нелепой шляпке.

— Думала, ты не придешь!

Мои влажные, холодные губы касаются ее горячей щеки.

— Извини, пришлось...

— Да ладно.

— А что с подругой?

— С подругой не получилось. Твой приятель не огорчится?

— Наоборот, рад будет.

— Да? Почему?

— Долго рассказывать. Пойдем, — поторапливаю, — времени уже мало, до темноты, боюсь, не успеем.

Зонт у нее мужской, служилый, со сломанной спицей, я держу его на вытянутой руке — такая она высокая — и вода стекает на мое левое плечо и на ее правое.

— Ты не выспался?

— Какой там, все время будили, надоела эта работа!

— А жене что сказал?

— Что есть, то и сказал, что еду к Вите на дачу.

Дождь вдруг перестал, просветлело, черные зонты спорхнули с платформ, и весь намокнувший, хмурый

город, будто нехотя улыбаясь, заблестел мокрыми крышами, окнами, бусами проводов и жестяными колоннами водосточных труб.

Жадно глотаю холодный, выстиранный долгим дождем воздух.

— Когда ты должен вернуться?

— Завтра.

— Значит, мы у него заночуем?

— Если ты не возражаешь?

— Не возражаю!

И она прижалась к моему локтю.

«Поезд следует до станции Болошево со всеми остановками, кроме...» Мы сели друг против друга, она сняла шляпку и расстегнула пальто.

Состав передернуло судорогой пробуждения. Позвонки-вагоны лязгнули сцеплениями, железный червь медленно выполз из норы вокзала, и — будто землю из-под ног потащили, да все быстрее и быстрее: скрестили клинки и разлетелись пути, побежали мимо пешеходные мосты, железнодорожные будки, пустыри, кольнуло под сердце неприкаянностью.

Народу было мало. Мужик спал на лавке, покачиваясь от тряски, на полу две пустые корзины из-под грибов, мокрые листья и сосновые иглы прилипли к плетеным стенкам.

— Чего ты такой грустненький? — она наклонилась ко мне и взяла за руку.

— Грустненький? — усмехнулся я слову и убрал руку.

— Ну чего ты такой?

— Да какой «такой»?

Определить она не смогла и снова выпрямилась.

— Яблоко хочешь?

— Давай.

Поднатужившись, я разломил большую зеленую «антоновку» и, протянув ей половину, отвернулся к окну, сосредоточенно захрустев сочным, кисловатым яблоком.

Дождь то пропадал, то опять накидывал свою сеть на мелькающие поля и избы, полустанки, осыпавшиеся леса. Она достала из сумки книгу, обернутую в газету, открыла на заложенной странице и попыталась читать, часто поглядывая на меня. Вагон совсем опустел, и мы вдвоем качались в нем, как в люльке, над унылой и бескрайней равниной.

— Чего читаешь? — спросил я и взял у нее книжку. — А-а, Бунин...

Открываю наугад: «Вдали, у нас, в сизо-туманном утреннем саду, мягко, неизъяснимо прекрасно краснеют клёны». Посмотрел название — «Последняя осень». Шестнадцатый год.

— Бунин — моя первая любовь! — и криво усмехаюсь. И злюсь на себя за эту послушно выбегающую усмешку.

— Да? — она удивляется. — А мне не очень нравится. Слишком много описаний. И все как-то тоскливо...

Я улыбаюсь уже добрее.

— Да, тоскливо... Это я и люблю. У нас в школе был конкурс-концерт: нужно было прочитать короткий рассказ, так я выбрал «Журавли» Бунина, там конец замечательный: мужик пролетает мимо рассказчика на дрожках и вдруг соскакивает с них, падает на землю и кричит: «Ах, грустно-о! Ах, улетели журавли, барин!» Коротенький, на полстранички...

— Какое место занял?

— Да неудачно прочитал, волновался, а я, когда волнуясь, начинаю мигать, зал смеялся...

Она тоже смеется.

— Не замечала, чтоб ты мигал от волнения.

— Ну, теперь уже не так, прошло с тех пор какое-то время...

— А Витя твой, что он за парень? — меняет она тему.

— Увидишь.

И вдруг потянуло на «рассказы о Вите». Мы учились на одном потоке, но мало общались, я не любил еврейцев из его компании за модную тогда романтику «рюкзачков и рассветов», за характерную советскую инфантильность, которая казалась мне наигранной, выморочной. В нашей компании «поза» была иная, мы играли в циников, в инакомыслящих. Любовь к походам завела его потом в какие-то забайкальские экспедиции, по дороге он неожиданно женился, и родители — отец был главврач крупной больницы — видимо, с надеждой побудить сына к более оседлому образу жизни, купили ему кооперативную квартиру в Новогиреево, куда он возвращался из походов со всеми своими друзьями, у всех были ключи от нее, квартира стала общим хлевом, отовсюду приезжали и жили в ней, и спали с его женой, в чем однажды, под горячую руку, она ему и призналась. Это убило его веру в мужское братство, рожденное в совместных тяготах, заодно он порастерял и другие благие верования, так что, когда мы вновь встретились года полтора назад, я обнаружил домоседа, книгочех и чуть ли не поклонника восточных религий. К тому же он остался владельцем холостяцкой квартиры, отвоеванной в бракоразводном процессе, и ключи от нее по-прежнему готов был предоставить по первому требованию. Так что мы почти подружились. Общее «состояние грусти» (которое мне нравилось гораздо больше прежней восторженности) еще объяснялось какой-то застарелой влюбленностью, о которой он не любил распространяться.

Дорога была длиннее моих сказаний, я умолк, убаюканный равномерной качкой вагона, она отвернулась к окну, дождь опять заштриховал его абстрактной

композицией линий. Когда поезд трогался с очередной платформы, линии начинали двигаться по окну, меняя рисунок. А когда дождь исчезал, окно превращалось в колодец, со дна которого всплывало ее лицо, бегущее по полям и деревьям.

Мы познакомились месяц назад, на Горке¹, где в последние годы все шумнее и многолюдней отмечали Симхат Тора². День был ветреный и холодный, быстро темнело, но уже вскипала традиционная давка, народ иудейский все прибывал, вливаясь в карнавальную толкотню с песнями, танцами и вызывающим хохотом. Во дворе синагоги родная милиция, на всякий случай с двумя грузовиками, спокойно наблюдала за сионистским шабашем. Вся компания уже собралась, пора было в магазин бежать, а я все еще крутил головой, высматривая расположенных к общению вакханок: бросающая вызов женщина, я — поле твоего сраженья! Сырость пробирала до костей, хоть плясать иди. И вдруг вижу Анюту, разбитную соратницу по сионистскому делу, с двумя так себе. Да на безрыбье недосуг кочевряжиться: не хотите ли, девочки, завалиться к приятелю в гости, Новый 5738 год, так сказать, отметить? Да рядом, на Маяковке. Девочки быстро посоветовались и согласились. Одной чуть ли не под сорок, Инной кличут, другая помоложе, и даже лицом ничего, доверчивый взгляд, но велика ростом, широкое, старомодное пальто, сразу видно — одинокая. Оля.

У перехода на площади Ногина — забегаловка, тут всегда есть «Московская» и «Фетяска». Когда поднялся

¹ Сбегающая вниз улица Архипова, где стояла (и, кажется, еще стоит) Большая Московская хоральная синагога.

² Праздник «Счастья Торы», в этот день заканчивается годичный цикл чтения Ветхого Завета и начинается новый.

с сеткой, полной бутылок, на углу была только Оля. Анюта с Инной в соседнем магазине, в очереди за колбасой, Макар побежал звонить своей капризной Лариске, остальные уже уехали, берлогу прибрать. На мне новенький польский плащ с погонами, воротник поднят, и настроение самое что ни на есть боевое.

— Вы тоже уезжаете? — спрашивает.

— Да. Месяц назад подал.

Обычно это признание раскрепощает: что взять с моряка перед дальним плаванием? Эх, я — моряк, красивый сам собою!

— Ужасно...

— Что ж тут ужасного?

— Так. Ужасно все это... Инна на ОВИР в суд подала: без справки о смерти родителей документы не принимают, а родители в гетто погибли, и никто справки не дает, уже год как мучается... И вообще, тяжело терять близких друзей.

— Что же вас удерживает?

— Ну, во-первых, я не еврейка...

Вот-те раз, кто бы мог подумать.

— Ну, не только евреи уезжают...

— Нет, я бы никогда не смогла.

У Лёвы в угловом доме на Маяковке, на пятом этаже, над входом в метро, — дюжина комнат. Бывший коммунальный клоповник идет под учреждение, и все уже выселились. Все выселились, а мы веселимся. Через окно в кухне можно на крышу вылезти, мы тут балы даем. В комнатах разбросано старое тряпье, матрасы, кое-где раскладушки, обои содраны, паркет вскрыт, и пол зияет, как свежая могила. Но две комнаты жилые, у одной на дверях написано «хедер»¹

¹ Хедер — в прямом переводе с иврита «комната», но так назывались начальные школы

(Лева — преподает иврит), внутри простенький кухонный стол с табуретками, два шкафа с книгами, радиолы на полу, переносная учебная доска и огромная карта Израиля на всю стену, по словам учителя «в натуральную величину»; в соседней — логово разночинца: большой раздвижной стол, мы его не устаем раздвигать, довоенный сервант с немытой посудой, холодильник, матрас в углу.

Расселись за столом, Лёва надел черную бархатную шапочку и, творя благословения, зажег свечи, разлил вино. Рядом с подсвечником лежал красивый, в тисненном переплете молитвенник. Таинственные еврейские буквы при свете свечей, мерцание вина в стаканах, наши тени на голых стенах — сходка заговорщиков. На новичков, особенно девушек, действует безотказно. «Во дают!» — восклицает Аня, радостью неожиданного чуда вспыхивают глаза у Оли. Приобщенные гордо улыбаются, один Лев хранит строгую торжественность.

— Сначала выпьем вина.

Приподняв стакан, он произносит скороговоркой: «Барух атá адонáй элокéйну мéлех аолáм...¹ Макар, крикнув, заорал: «Лехáим!²», и мы опрокинули. После чего мальчишки налили себе водки, и Лариске, конечно. Немного закусили и опрокинули еще. Задымили. Стало туманно.

— Вообще-то сегодня полагается читать «Берешит»³, неуверенно предложил Лёва.

— Да ну тебя к черту! — Лариску религиозными радениями не уболтаешь.

¹ Благословен Ты, Господь наш, царь вселенной... (ивр.)

² Общеизвестная еврейская заздравная — «За жизнь!»

³ «В начале» (ивр.), первая глава Торы о сотворении мира.

— А как ты думаешь, — вдруг спрашивает Сема учителя, он тоже в шапочке, только голубой, вязаной, — давно хотел тебя спросить насчет «Акедат Ицхак»¹: Авраам был готов исполнить повеление до конца или был уверен до самого конца, что ему не придется этого делать?

— Надо почитать хохамим², — сказал Лева, — но ясно, что он готов был исполнить. Вера безусловна.

— А вот и нет! — Сема вскакивает на любимого конька. — Авраам — натура яростная, Богу под стать! И суть их связи — Завет, брит, то есть договор, союз! Почему Авраам, посмеявшийся защитит перед Богом жителей Содомы, ни слова не сказал в защиту своего сына?! Безропотность Авраама — его ответный вызов Богу! Суть её не в безусловности веры, а в богоборческом духе! Ты испытываешь меня? А я — тебя! Я пойду до конца, но условия игры тебе ясны: смерть сына — это смерть Завета. А без Завета все равно жизнь бессмысленна. И теперь не Авраам принуждается к жертве, а Бог, который ради того же Завета должен отказаться от своего своеволия! Все дело в Завете! — его несло. — В Договоре! И смысл его для Авраама — в правосудии!

— Любопытная тракточка, — обрадовался Макар и зачесал в бороде.

— Впадаешь в кантианство, — неодобрительно буркнул Лева. — Хочешь вывести Бога из каких-то императивных моральных основ. Вспомни Иова...

— Завели, талмудилы! — не выдержала Лариска. — Мы что, проповедь пришли слушать? Левастый, музыку!

— Ну почему, — робко возразила Оля, — так интересно...

¹ «Жертвоприношение Исаака» (ивр.).

² мудрецов (ивр.).

Но Лева уже послушно побрел включать радиолу. Тяжелый рок затопал, зашаманил в углу.

— У меня все друзья — евреи, а кроме «тухес» и «поц»¹ — ни одного еврейского слова не слышала, — призналась Анюта, восхищенная нашим церемониалом.

— А вы верите в Бога? — спросила Инна у Левы.

Лев задумался.

— Так нет же Бога! — весело всполошилась Анюта и оглядела нас, ища поддержки.

— Медицинский факт! — заорал уже забалдевший Макар и нещадно затеребил растительность на груди.

— Не знаю, — спокойно продолжил Лева, но в отличие от вас у меня язык не повернется такое сказать. Просто не повернется и все. — И он по привычке поправил указательным пальцем очки.

— Вы меня уморите сегодня, — пригрозила Лариска.

— Да ну бросьте, ребят, — Анюта неожиданно обиделась, решив, что ее разыгрывают, — есть же научные факты...

— Ну, это ты зря! — хором встрепенулись Лева и Сема, и тут же залили ее бедную хорошенькую головку мутным потоком своей энциклопедической эрудиции, призванной любого убедить в том, что всё на этом свете по меньшей мере странно.

Разговаривали, глушили водку, дамы потягивали вино, мы с Олей танцевали. Старое широкое пальто, уже не скрывало ее могучей стати и той своеобразной грации силы, которая вдруг повлекла меня к себе. Мы танцевали и целовались.

— Ребята! — закричал вдруг Макар (он был чуток глуховат). — Давайте я вам свой последний рассказ прочту!

¹ «задница» и «член» (еврейский сленг).

Достал измятые листочки (запланировал, значит, читать), бешено зачесал в голове и бороде а-ля Солженицын, откашлялся и начал читать. Рассказ был, может быть, и неплох, но не к месту, и не ко времени, с обилием ненормативной лексики. Как через Среднюю Азию едут в поезде трое: «бывалый человек», «солдатик» и «интеллигент». Едут и рассказывают друг другу истории. Оля рисовала присутствующих на листках школьной тетради. Отвлекаясь иногда от рисунка, она встречала мой взгляд и улыбалась.

Ночевала она у Анюты, и я вызвался проводить. Шли парами: впереди Аня и Инна, а мы с Олей отстали. Лужи поблескивают под фонарями, как осколки черных зеркал, изредка, с шиком шипя шинами, проскакивают такси. Мы все чаще останавливаемся, целуемся, она крепко обнимает меня за шею и бормочет: «Зачем я тебе нужна, ну скажи, зачем...»

Электричка, прогрохотав, умчалась. Взметнувшиеся за ней мокрые, тяжелые листья, будто догадавшись о безрассудстве погони, медленно и равнодушно опали. Тихо. Небо низкое. И столько его вокруг — океан неба, как будто из тюрьмы бежал и вышел к берегу моря...

На ухабистой площади, сразу за платформой, покосившиеся лавки с ржавыми ставнями, затворами и замками, брошенный на обочине грузовик, побеленная изба с надписью «Аптека», в соседней избе — продмаг. Слякоть кругом, ботинки то скользят, то вязнут. В продмаге сумрачно, пахнет солеными огурцами. На прилавке конфеты, пирамиды тушенки, одинокая бутылка без этикетки с мутной жидкостью. Продавщица с могучей грудью, ярко накрашенными губами и наклеенными ресницами ссыпает через воронку картошку. Угрюмая баба в ватнике ловит картошку в сетку. Грохот и клубы пыли.

— Пива случайно нет? — шутливо спрашиваю, показывая пальцем на бутылку без этикетки.

— «Жигулевское!» — тоже вроде шутя, отвечает продавщица. Лет пятьдесят, глаза подведены зверски.

— Не, серьезно.

— Сколько тебе?

— Десяток!

— Пяток дам. Ради подружки твоей! — и подмигивает Оле.

Отоварились на славу: пиво, картошка, тушенка, лук. Автобусный круг рядом, на асфальтированной, открытой ветрам площадке. Стоим, ждем. Взгляд ныряет в простор мрачного неба над соснами, дачами, станцией, размытой дорогой, и вдруг легко становится на душе, весело, будто и впрямь на свободу вышел, земли обетованной достиг...

Пришел автобус. Шофер заглянул в продмаг, и долго. «Закрыто на обед» — закачалась на окне табличка. Что ж, дело житейское. Из-за пива мы не в обиде. Ждем. Наконец, выбив ногой дверь, шофер вывалился на порог, подивился на мир божий, за углом избы побрызгал на бревна, оправился, закурил и побрел, не спеша, в нашу сторону.

Кроме нас в автобусе и нет никого. Дребезжит колымага, подскакивает на ухабах, расплескивает лужи. Мы сидим тесно, и она распалилась. «Поцелуй меня»... Расстегнула пальто, и я обнял ее, горячую, податливую. «Милый, хороший мой, любимый... боже мой, боже...» Страсть ее разгоралась, как пожар в иссохшем лесу. Шофер, кругломордый коротыш в тельняшке и кепке поглядывал на нас в зеркало маленькими расстрельными глазками. Я крепко сжал ее, не давая свободы, и спрятал лицо в коротко стриженные, мягкие, детством пахнувшие волосы.

Недели через две после Нового года вдруг Анюта телефонирует:

— А мы тут с Олей сидим, скучаем. Тебя, между прочим, вспоминаем. Взял бы кого-нибудь, да прикатил?

Вадим оказался дома. Договорились.

Скверик вокруг памятника Горькому у Белорусского вокзала. Вадим сидит на скамейке и курит. Темно, безлюдно, за изгородью кустов сияет огнями и шумит огромный вокзал. Сажусь рядом. Вадим не в духе.

— Таня приехала, — обронил. — Вся в заграничном, квартиру купила, замуж хочет.

— Ну, как ей Париж?

— Скучотища, — говорит. — Из посольства не выйдешь, одни подонки кругом, сиди да телевизор гляди. Говорит, счастлива, что, наконец, выбралась.

— Так уж и скучотища. А Лувр?

— Да что Лувр-то, между нами девочками, если не любит никто.

— Ну...

— Посидели мы с ней в «Севере», а потом на квартиру к ней, на эту новую, поехали. Люблю, говорит. Ну, легли, а у меня не стоит. Еще выпили, и слезы, как водится. Я, говорит, в Париже только о тебе и думала. Меня чуть не стошнило. Отчего, думаю, так скучно? Прямо воняет пошлым бабьим одиночеством.

Приплыли к Анюте. Вадим произвел должное впечатление, и Анюта заметно оживилась. На Оле — плотная футболка, облегающая большую грудь, глаза сияют. Чудно. Комнатенка маленькая: кровать, шкафчик да столик. Мы достали выпивку, а девочки пошли хлопотать на кухню.

— Баскетболистка эта вроде как влюблена в тебя? — ухмыльнулся Вадим.

Я скромно пожал плечами.

— А как тебе подружка? — спрашиваю.

— Да ты что, — печально отозвался Вадим. — Уволь.

Расставили скромный закусон и выпили. Анюта трещала без умолку: одна, муж на заработках, ему еще нужно первой жене алименты выплатить за все годы вперед, ответа из ОВИРа все нет, неопределенность, вдруг откажут, измаялась от безделья, читает новейшие американские сексруководства, чтоб хоть английский не позабыть, кстати, она уроки дает, киньте клич у знакомых, если кому-то нужно, а то уж и деньги вышли, и вообще тоска.

— Секса, или английского, — шучу, — уроки-то?

— А что угодно господам!

Но Вадим — ноль внимания. Странно. Я не такой разборчивый.

Задымили. Мы с Олей переглядываемся. Анюта достала письмо приятеля из Хьюстона, тот советует, как за Хьюстон зацепиться, мол, Нью-Йорк — страшный город, там одни неудачники и Одесса-мама, что если не Хьюстон, то Калифорния... Потом стала свой рассказ читать (все стали писателями), про мужа, какой он у нее сексуальный гигант — что он амбал, это точно, — и пошли всякие разговорчики со смехуечками, что, мол, пригласила (это я), а кровать-то одна, а она говорит, что согласно наимоднейшим сексруководствам на английском языке в этом самый и смак, хотя она может и на кухне посидеть, соседей только лишний раз видеть не хочется. Вадим тут же заторопился, мне захотелось пойти с ним, но как верное дело из рук выпустить — и остался. «А кто, — говорю Анюте, — обещался на кухне посидеть?» Ну, она взяла вязанье и вышла. А мы с Олей пустились вечно волнующий путь: ласки, поцелуи, объятия, уютно горела настольная лампа, я постепенно раздевал ее, вот остались одни только труси-

ки, но она их упорно не уступала, и мне вдруг надоела эта затянувшаяся возня, опять не выходило, как мечталось всегда: свободно, решительно, без оглядки... Раздосадованный, прекратил нападки, откинулся на спину и засмотрелся в грязный потолок. В похожей комнатухе я прожил детство. На ночь стелили мне раскладушку в проходе между кроватью папы с мамой и диваном бабушки, и я лежал вот так, руки за голову, слышал шепот родителей, посапывание бабушки, а потолок был высоко-высоко...

И тут Оля неожиданно и судорожно меня обняла, стала целовать, прошептала быстро: «Господи, какая же я дура!», и сдернула трусики. Оказывается, у нее лобок был побрит после каких-то медицинских дел, так она стеснялась. А я бритые лобки как раз таки и люблю.

Шли дачными переулками, сумерки надвигались не ровной стеной, а будто набегали порывами, воздух темнел пятнами. Окна везде заколочены, на калитках замки, на дорожках лужи. Ни души, тишина, только капли скатываются с тяжелых еловых лап, да глухой стук о дерево доносится иногда. Стучат где-то близко. За поворотом бородатый мужик в резиновых сапогах и телогрейке, орудуя топориком, правит забор из толстых досок, сплошной, только доски гнилые. На наши шаги мужик обернулся, выпрямился и улыбнулся широкой, доброй улыбкой.

— Да это же Витя! — воскликнул я.

— Привет! — Витя слегка картавил. — Я уж думал, вы дождя испугались и не приедете.

Он стащил рукавицу, и мы поздоровались.

— Познакомься, — говорю, — это Оля.

— Очень гад, — картавость от смущения усиливалась.

— Я тоже, — сказала Оля.

— Сейчас, ребят, я только эту доску доколочу и все.

Глаза у Вити карие, мягкие, борода курчавая, темная, ямочки на щеках, когда улыбается.

— Я пойду пока положу все? — кивает Оля на сумку с продуктами.

— Да бросьте там на столе в саду, я сейчас все устрою, — распорядился Витя и украдкой посмотрел ей вслед, но, заметив, что я его взгляда не пропустил, смутился уже окончательно. Приладившись, несильным ударом вогнал в деревянную гниль длинный гвоздь.

— Сейчас, уже заканчиваю, — повторил он.

— Деревенствуешь?

— Да вот...

— Слушай, с подругой не получилось.

— Ладно. Я вообще думал, что мы с тобой вдвоем...

Погуляем... Это та художница, про которую ты говорил?

Я кивнул.

Выпрямив очередной гвоздь на камне, Витя оттер рукавом пот и огляделся.

— Последние дни уже. Осень кончается...

— Не только осень, — замечаю многозначительно.

— Что, есть новости?

— Пока нет.

— А я подумал... Не боишься, что откажут?

— Я больше боюсь, что разрешат, — издаю натужный смешок.

— А-а... Это я могу понять. Для меня все это, извини, как самоубийство.

— Да? А говорят, наоборот, возможность прожить две жизни...

— Учти, что у индусов реинкарнация считается наказанием, — бросил Витя, загоня выпрямленные гвозди в древесину.

— От этой жизни, — говорю, — надо избавиться, как от дурной привычки.

Витя пожал плечами, хотел что-то возразить, но тут подошла Оля.

— Вот, пожалуй, и все, — Витя в последний раз ударил по гвоздю, который должен был держать на столбе поперечную доску. — А то уж совсем забор развалился. Ну, пошли.

Дача была старая, участок запущен. Витя объяснял:

— Это пристройка, здесь вроде кухни и склада, а на терраске, на топчане, я сплю. С Сибири, знаешь, люблю спать на открытом воздухе.

— Не холодно?

— Да ты что, прекрасно! У меня отличный американский спальный мешок, альпинистский. А это уже Дом. Здесь вот большая комната, печка, тут можно спать, в остальных будет холодно, окна вынуты... Так как мы решим: сначала погуляем, а потом поедим, или наоборот?

— Давай сначала в лес сходим, пока дождя нет и не темно еще. Ты как, Оль? Может, есть хочешь?

— Конечно, пойдем в лес! Я совсем не хочу есть!

— Так, только вот с обувью у вас... А сапог у меня нет...

— А мы что, босиком? — смело улыбаюсь.

— Сыро в лесу, — назидательно произносит Витя.

— Ничего, не растаем.

— Погоди, у меня где-то были старые боты...

Небо темное, в тучах, мокрые деревья, тишина ласковая. Захотелось по мокрой траве босиком побегать...

Витя принес боты для Оли.

— Попробуйте, может, налезут? А тебе — калоши папины старые.

Всё оказалось мало.

— Ладно, — говорю, — так пройдемся.

Безлюдность вокруг вдруг встревожила. Вышли на тропинку, которая, огибая луг, вела в лес. Сумерки густеют. Внезапный ветерок. Тропа спускается в небольшой овраг, за ним осыпавшийся березняк, светится, как останки гигантской белоснежной колоннады, будто свет идет из глубин леса. Пахнет грибной сыростью.

— Ой, как здорово!

Оля бросила нас и побежала вперед, нырнула в мелкий ельник у просеки, выскочила, закружилась, что-то подбирая с земли, вновь подбежала:

— Смотрите, какие шишки!

— Угу, — сказал я.

— Смотрите, какие большие березовые листья! Смотри, какой желтый!

И опять убежала.

— Ничего девчонка, — сказал Витя. — Я, откровенно говоря, боялся, что ты приведешь какую-нибудь... и не поговоришь.

— Да, она ничего, — согласился я.

К ботинкам прилипли листья. Мягкая земля пружинила.

— Прочитал я твои рассказы, — сказал Витя. — Могу вернуть.

— А-а, хорошо. Я заберу. Ну, и как?

— Любопытно. Наша институтская жизнь, имена ты переставил, но персонажи легко узнаются, даже меня там вывел, не слишком лестно, кхе-кхе... Написано живо... Только странного ты себе героя избрал, какого-то отчаянного юбочника. Я не совсем понял к чему это все: встречи, девки, квартиры, трахнул — не трахнул. И что, всё абсолютно автобиографично?

— Вплоть до диалогов. Это собственно не рассказы, а мемуары. Мемуары отчаянного юбочника, ха-ха-ха!

Витя шел не поднимая головы, обходя лужи.

— Ты там изобразил одно приключение, с некой Леной... Это ты про Элку Левицкую?

— Э-э... А что?

— Да, я помню, как она мне говорила, что познакомилась с очень интересным человеком, поэтом, стихи твои давала читать. Я не знал тогда, что ты стихи пишешь... А ты ничего не знал про меня?

— Нет...

— Помнишь, мы сидели на филодроме¹, и ты подошел, а она почему-то встала и ушла. Я ей говорю потом: ты чего? А она говорит: я этого типа терпеть не могу... И все это, что у тебя написано, она про меня говорила?

— Слушай, я уж не помню, потом ведь это рассказ все-таки...

— Да, она действительно часто на меня злилась, и я не мог понять почему. У тебя там упоминается первое мая, когда ты ее... трахнул, хм. Могучее слово... Мы как раз накануне поссорились... Ты после того, как женился, виделся с ней?

— Ну, так, пару раз.

— Выходит, и с ребенком получается запутанная история... Я все не мог понять, почему она решила избавиться. Я ей тогда говорил: давай поженимся, а она: а ты уверен, что ребенок от тебя?

Я боялся посмотреть в его сторону. Во дела...

— Ты знаешь, что она замуж вышла? — Витя старательно равнодушен. — За какого-то кандидатика. В Америку с ним улетела, года полтора назад. Могу адресок дать, может, подскочишь.

— А ты что, с ней переписываешься?

— Да... так уж вышло.

¹ «филодромом» назывался в нашем институте большой бельэтаж, место для прогулок и встреч.

Подошла Оля с огромным разноцветным букетом опавших листьев и блаженной улыбкой, раскрасневшаяся — становилось морозно. Хотела нам рассказать о шишечках и листочках, но осеклась.

— Кстати, — продолжил Витя, — стихи твои мне больше нравятся. Некоторые я помню ещё с тех пор, когда не знал, что они твои.

Растерянный, я пожал плечами.

— И в этом сумраке, который воздух наш, — решил Витя процитировать, — благословляю я сердечную неволю. Единственный огонь, эээ...

— Единственную блажь, — подсказываю.

— Да, единственную блажь, и в обездоленность — единственную долю... Видишь, запомнил, хотя я плохо стихи запоминаю.

Вдруг налетел ветер, закружил, зашумел листьями и пропал. Будто ворчливый шорох пробежал по лесу — то ли ветер сорвал влагу с ветвей, то ли вправду дождь.

— Как бы под ливень не попасть, — забеспокоился я. — И ноги у меня, признаться, промокли.

— Так что ж ты молчишь?! — всполошился Витя. — Пошли быстро домой.

Аппетит нагуляли изрядный.

— Так, ребята, теперь посушиться и за трапезу.

Витя достал нам старые тапочки, принес дров, стал печку разжигать. А мы с Олей собирали на стол: резали хлеб, лук, открывали консервы, чистили картошку. Затрещала печка. Поставили кастрюли с картошкой. Я уж и забыл этот запах дыма от печки, треск поленьев, мерцание огня за заслонкой. Сажусь перед ней на низкой скамеечке, озябшими ногами к огню, смотрю на пламя, кочергой дрова ковыряю. Печка еще холодная, только от огня, когда заслонку откроешь, — жар в лицо.

— Я сейчас приду, — говорит Витя и берет ведра.

— Тебе помочь? — спрашиваю.

— Не-не, тебе и выйти не в чем. Да тут недалеко.

В комнате еще старая кровать, Оля откопала где-то дырявые шерстяные носки и забралась под рваное одеяло. Тускло горит лампочка под потолком, освещая темные стены. Закипела вода в кастрюлях. Я положил свои мокрые носки на печку, около воронок, закрытых железными кольцами, чтоб побыстрее высохли.

— Как здорово, — мечтательно шепчет Оля. — Печка... И Витя такой хороший...

Я пересел к ней на кровать, и мы обнялись. Вспомнил, как Анята позвонила после Нового года: «Ну, как тебе Оленька? Ты знаешь, что она замужем? Правда, она с ним не живет... Нет, она ничего девчонка, только уж очень привязчива, ты учти». «Ладно, — говорю, — будем начеку». Целовались. Она беззвучно смеялась, целуясь. Одежда мешала, и мы постепенно освобождались от нее...

Вдруг — грохот на пороге: Витя с ведрами. Поставил с грохотом — чуть не выронил — и скрылся. А мы застыли, как в детской игре «замри». Потом медленно и неохотно приходили в себя. Запахло горелым. Оля тоже приняхивалась. Ввалился Витя с охапкой дров.

— Ну, все, запасы есть! — радостно сообщил он. — А чем это пахнет?

— Вот и я думаю...

Витя бросился к воронкам.

— Да вы что, ребята, носки на печку положили?!

— Это я, — пришлось признаться, — хотел побыстрее...

Витя энергично соскребывал с печки расплавленные комочки синтетики, то, что было прежде носками. Вонь пошла нестерпимая. Комочки прилипли и про-

должали тлеть, издавая жуткое зловоние. Мы суетились возле печки, работая кто гвоздем, кто щепкой. Витя был недоволен.

— Не пойму, ворчал, — зачем нейлоновые носки на печку класть...

Мы с Олей переглянулись и так заразительно прыснули, что нахмурившийся Витя не выдержал, улыбнулся.

Разлили «Жигулевское», пена побежала из стакана и зашипела на моей руке, из раскрытой кастрюли с картошкой и утопленной в ней тушенкой повалил дразнящий голодного пар, от печки веет теплом...

— Королевский стол! — закричал Витя.

Все счастливо улыбались.

— Ну, — я поднял стакан, — будем!

Навалились на картошку, захрустели огурцами, заурчали, зачавкали, покраснелись, скинули ватники и пальто, смеялись над собственным голодом.

Где застолья, там и сказы.

— Помню, однажды... — начал Витя, — жратуха, правда, была похуже, но тоже — счастье неописуемое!

Ждем продолжения.

— Мы тогда на Алтае по порогам спускались, одна группа на плоту, а другая — вдоль берега, потом менялись. Плот небольшой, но крепкий, нас шестеро, обычно трое сидят, а трое стоят, и вдруг дождь, ветер сильный, река поднялась, а мы уже все мелкие пороги проскочили, и всё — в поток попали. Несет, как поезд, упадешь — смерть, не выберешься, да и плот вот-вот на скалу бросит! Повезло нам, на одном большом камне, как раз перед поворотом, напротив скалы, застряли... и стоим, до скалы — рукой подать, но по ней не выберешься, отвесная, надежда была одна, что группа успеет подойти и вызволит... только бы плот устоял.

А его поток обмывает, сильнейший, вот-вот снесет, гул стоит, рокот, темнеет, все мокрые — страх! Стоим, не шелохнувшись! И места нет, да и нельзя равновесие нарушить — смоем плот. Так всю ночь и простояли. Я тогда понял, что значит пограничное состояние... Ночь, холод, одежда твердеет, наступает бесчувствие, скалы вокруг, звезды горят, и борьба со сном: уснешь — упадешь — погибнешь. Те, что лежат — спят, а мы трое стоим, руки на плечах друг друга, не сон и не бодрствование, транс... Хорошо, со мной один мужик стоял, уже в годах, сильный, интересно, что мы были друг другу антипатичны, а потом, после этого, даже из-за чего-то поссорились, так вот, он мне жизнь спас... Уже засыпаю, проваливаюсь и — толчок рукой, это он. А сон... не знаю с чем сравнить, как падение в пропасть. И все падаешь, падаешь... И каждый раз — толчок. Так всю ночь. Вот тогда я кое-что понял о себе, что у меня там отложилось, такие видения пошли, которых я и предположить не мог! Лица возникли, которые я забыл начисто и не вспоминал никогда... И так явственно, ясней, чем в жизни... Ну вот, так всю ночь простояли и утро, пока группа не подошла. А они тоже всю ночь шли, боялись, что с нами что-то случилось. Пока еще нас вытащили... Пришли в деревню одереvenевшие, бесчувственные, проспали сутки, а утром — парное молоко, картошка! Никогда в жизни я не испытывал такого наслаждения от еды! И представь себе, никто не заболел!

— Да, в таких ситуациях редко заболевают. Мы с Вадимом тоже пережили похожее, в горах. Глупость, мальчишество, погибнуть запросто можно было... Везение... Зато, если выживешь, поймешь что-то очень важное, что не знал раньше и никогда иначе бы не узнал...

— И что вас тянет на такое?! — с восхищением спросила Оля.

Мы с Витей переглянулись, посмеиваясь, причастные мальчишеским тайнам.

— Я тебе не рассказывал, — спрашиваю Витю, — как мы с Вадимом через Клухорский перевал ходили?

— Нет.

— Странно, это ж моя любимая притча.

— Когда-то ты нас дразнил: умный в гору не пойдет.

— Злопамятный! — улыбаюсь.

— Сам об этом пишешь.

— И мне ты не рассказывал, — упрекнула Оля.

— Мы весной поехали, — начал я, — в начале мая.

В Москве еще холодно было, дожди шли, а из самолета вылезли — жара, солнце, все зеленое! Сначала в Пятигорск собрались, паломничество к Михаилу Юрьевичу, а потом — к морю. Но и горы тоже хотелось посмотреть, ни разу в горах не были, а тут такой удобный перевал я на карте нашел, из Домбая в Сухуми, «Военно-Сухумская дорога» написано. Две шестьсот над уровнем, но ведь написано, что дорога — пройдем как-нибудь.

Витя усмехнулся.

— Теперь-то и мне смешно, а что мы про горы знали? Ну вот. Три дня были в Пятигорске, это тема отдельная. Трудно передать, что значил для нас Лермонтов. Вадим с «Героем нашего времени» не расставался, каждую ночь читал. Помню, будит меня в какой-то деревенской мазанке, где мы на ночлег остановились, а я плохо соображаю, злюсь на него: сон был глубокий, находились за день; в раскрытое окно луна каким-то язвительным светом льет, ветер прохладный, ветка акации по стеклу шуршит и запахи медовые — комнатку мы снимали маленькую, у одной старушки, белая такая, аккуратная мазанка... ну вот, дергает меня, фонариком на страницы светит, послушай, говорит, да ему и

фонарик-то был не нужен, наизусть помнил, послушай, говорит: «Я часто себя спрашиваю, зачем я добиваюсь любви молоденькой девочки, которую обольстить не хочу и на которой никогда не женюсь?»... полчаса читал. Потом говорит: «А?! Ведь в двадцать пять лет написано!» Восхищение этим неистовым юношей и любовь к нему были безграничными. И вместе с тем чувство близости, как к товарищу, ведь и нам было тогда по двадцать пять, приятель-демон, будто мы с ним по Пятигорску гуляем, сидим вместе в кафе на центральном бульваре, на эту жизнь смотрим новую, для всех нас странную, в чем-то всё такую же, но и невыносимо другую... И конечно — девушки. Вадим познакомился с одной, выбрал. Да, мы гуляли по городу, и он выбирал, как для жертвоприношения. Около телефонной будки стояла: золотые волосы по плечам, печальный взгляд синих глаз. Высмотрел ведь. И не ошибся. Было в ней что-то хрупкое, болезненная замкнутость чуткой души — легкая добыча для поэта... Такая любовь была! Два дня... Я тоже подсутился, в трамвае одну склеил: статная, и тоже, конечно, одинокая. Но ничего мистического. Мне всегда почему-то попадались обыкновенные женщины... Но красивая была, себе цену знающая, Наташей звали... Перед отъездом Вадим был печален великой печалью жреца, принесшего идола достойную жертву. Боже, говорил он, что я наделал! Девушка была готова, бросить, что подстрелить. А что делать? Приехав в Пятигорск на поклон к гусару, жениться на местной Золушке? А потом мы в Домбай переместились для перехода.

— А твой роман, Наташа? — спросила Оля.

— Мой? Ничего особенного. Корчил из себя столичную знаменитость, и был удостоен осторожных поцелуев. В результате наша пара была перевернутым отражением Вадикиной: она была местным божеством,

а я — несчастной жертвой культа аборигенов. Правда, Вадим утверждал, что я лихо гусарил: транжирил наши скудные средства, дрался в ресторане, танцевал-гарцевал и каблуками щелкал, как будто у меня были сапоги со шпорами... А вообще, дни были волшебные: на горе стоим на закате, Золова Арфа воет, и дольний мир у ног, с синими долинами, блещущими нитями рек, городком по склону, уже зажигающим огни. А вдали белые вершины, и душа, как воздушный шарик, рвется из рук вверх... А как стемнело, спускаемся по белым камням и Вадим бормочет: «Сквозь туман кремнистый путь блестит»... Так что представьте себе накал, с которым мы спустились к Домбаю с намерением перейти хребет, а нам говорят: да вы что, ребята, психи? На кладбище альпинистов сходите, много там таких. Не пойдем, в чем дело. Склоны, говорят, в снегу, лавины сходят. Как сговорились все, от инструкторов до мальчишек местных. Дело дрянь. Ждать, когда лавины сойдут — недели две минимум, а отпуск кончается. В общем, либо идти, либо возвращаться, и поездом через Сочи. И вот тут такое чувство, что отступить нельзя. Нельзя и все. Легче жизнью рискнуть. Иначе убьешь в себя что-то главное, того, кем хочешь себя видеть... Не знаю, понятно ли...

Оля посмотрела на меня с таким восхищением, что мне стало весело. На радостях затянул: «В этом мире я только прохожий, ты махни мне веселой рукой...»¹, Оля подхватила. Витя бросил на нее быстрый взгляд и тут же отвел его. Сделался задумчив, и вдруг будто выронил что-то тяжелое:

— Прохожему легко. Ни за что отвечать не надо. Как твоему Печорину.

¹ стихотворение Есенина.

— А я его в школьном сочинении петухом назвала! — присоединилась к нему Оля со смехом. — Курочек он, естественно, презирает, этак гордо между ними прогуливается, а они все его обожают и за ним бегают. Мечта всех мальчишек. Вот и строили из себя печоринных... Училка наша мне за это двойку вlepила, он, говорит, не женщин презирал, а дворянское общество.

Чую «запах битвы» и разбирает смех:

— А ль'амур ком а ля гер! В любви, как на войне!

— Это, как на войне, то, что он с Беллой сделал?! — Витя начинает заводитьcя. — Мало того, что девицу погубил: но ведь он украл дочь у союзного князя, этот князь мог в результате превратиться во врага России, даже война могла из-за этого вспыхнуть!

— Кстати, — подкалываю, — «добрейший» Максим Максимыч оказался с ним заодно, правда, без коллективного секса — Максим Максимыча она только пением и танцами ублажала.

— Да он и своих не жалел, — Оля явно не чувствует ядовитые испарения личных мотивов, — и над княжной Мэри поиздевался, и Грушницкого убил, да еще посмеялся над ним перед смертью.

— Бросьте вы, — перехожу в атаку. — Как старые бабки. Что за святошество. Человек презирал общепринятые условности — это форма своеволия, форма проявления внутренней свободы и независимости. В условиях тотального рабства — хоть какой-то шанс на освобождение...

Витя:

— Если подлость — цена свободы...

Я:

— Зато рабство на халяву дают.

Витя:

— Вот Раскольников ради своего освобождения и убил двух старушек.

Я:

— Достоевский был морализатором! А Лермонтов написал великий этический роман! Куда острее и глубже, чем «Преступление и наказание»! Аморально прежде всего рабство! И только будучи свободным, можно говорить о нравственности!

Витя (с непередаваемой иронией):

— Ты и женщин коллекционируешь из стремления к свободе?

Оля испугалась:

— Ребята, вы что? Так хорошо было...

Я понял, что победил и великодушно промолчал. Усмехнулся только.

Витя лег на старом диване на веранде, забравшись в свой американский спальный мешок, а мы — в комнате с печкой. От поленьев остались мерцающие угли, печка была раскалена и в комнате тепло. Мы раздевались, наблюдая друг за другом, трещали догорающие угли, синела за окном тьма, и ничто не мешало коже любить каждой клеткой.

Утро совсем морозное. На яблонях тает иней. Низкое солнце обсыпало сад соломой лучей. Воду в зеленом от плесени бочонке подернуло нежным ледком. Я проткнул его пальцем и облился обжигающе холодной водой.

Чай пили молча. Проводив нас до автобусной остановки, Витя побрел обратно.

Так и не отошел.

Набежали тучи, заморосило. Я прислонился к голому тополю, а Оля — ко мне.

— Чего это вы с Витей?..

— Тут такая история получилась... Помнишь мой рассказ про Лену?

— Которая забеременела от тебя, когда ты женат был?

— Да... Оказывается... Помнишь, там героиня все рассказывает про парня, который любит ее, жениться хочет, что... вроде как боготворит ее, а ей противно себя богиней чувствовать, как будто от нее что-то требуется, что она дать не в силах, и вот эта его такая тихая, но неумолимая требовательность давит...

— Так это — Витя? И ты не знал, что это он? И дал ему читать?! Ужас.

Виновато улыбаясь, попытался обнять ее, но она отступила, и я остался с пустыми руками.

Показался автобус.

Зимой мы получили разрешение. Иду на последнюю встречу. Сумерки. Сыпет снег. Иду медленно, через тысячелетний город и мои тридцать лет в нем. Машины заносит, люди проталкиваются в переполненные троллейбусы... Твой город — и уже не твой, твоё время — и уже не твоё, твои сограждане — и уже не твои. Давно, впрочем. Всегда? Или я брежу?

На углу Старосадского очередь у новой пивной. Снег пошел густо, громоздя горки на подоконниках, ручках дверей, перилах, мостовые намокли, совсем стемнело. Её дом напротив только что отремонтированной церкви, купола ярко-зеленые уже частично завоеваны снегом...

Схватились, как борцы, у меня упала шапка.

— Погоди, дай хоть пальто сниму.

Скинул пальто, и снова схватились. Потом разняли руки, перевели дух. Она захлопотала с постелью: простыня, подушки, одеяло. Побросали одежду на пол, потушили свет. Только фонари глядели в окна без штор, и видно было, как валит снег.

Наверное, я спал. В углу горит торшер, ее нет. Тела не чувствую. Который час? Уж не ночь ли? Фонари в

окне горят ровно и ярко — сдернули с них вуаль снегопада. Окно запорошено, целый сугроб намело на подоконник.

— А я картошку поджарила! — вошла. — С яичницей!

Я и вправду проголодался...

— А ты что? — спрашиваю с полным ртом.

Подперев щеку ладонью и улыбаясь, смотрит на меня. Не помню, чтобы кто-то смотрел на меня такими влюбленными глазами.

— Ешь, ешь. Я люблю смотреть, как мужики едят.

Подзаправившись, наконец, решаюсь:

— А я разрешение получил.

— Как?!!

— Да...

Она опустила глаза. Замолчали. Стала убирать со стола. Принесла чайник, стаканы. Громко хлебали темный, душистый, горячий чай.

— Я почему-то в это не верила... Знала, а не верила. Глупо. Все глупо... Нет, хорошо. Хорошо. Хорошо и так... Ты останешься?

Я старался не смотреть на нее.

— Нет.

Убирала со стола. Я подошел к окну. Все в снегу: тротуары, крыши, даже провода белые. Пробежал троллейбус. Уже десять. Пора.

Она положила руки на мои плечи — и не заметил, как подошла. Обернулся и обнял ее. Долго так стояли, обнявшись.

— Пора.

— Можно, я провожу тебя?

— Ага, пойдем, — я обрадовался, что еще не надо расставаться.

Оделись и вышли. После теплой, даже душной комнаты, запахов пота, спермы, еды, воздух был живи-

тельно морожен, так чист и крепок! Шли незнакомыми дворами и переулками, вдруг оказались на Чистых прудах, пошли по бульвару к Кировской. Деревья в белых шубках, белый ковер на пруду — значит, лед уже прихватил воду. Безлюдно и тихо. Только снежок под ногами поскрипывает. Завтра утром растает. Какая-то весенняя сырость в воздухе. А вот и Грибоедов, трамвайная развилка, метро. Губы ее остыли, руки загордели от всего мира. Я закрыл глаза. Шея теплая. Мокрое пальто.

Люди входили и выходили из метро, стояли на трамвайной остановке.

— Ты еще позвонишь до отъезда?

— Обязательно. Мы еще обязательно перед отъездом увидимся.

Поцеловались в последний раз. Потом еще раз, совсем в последний. И еще раз, в совсем-совсем... Я спускаюсь в метро навстречу теплому ветру и неожиданной, нестерпимой яркости.

ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРОД

Так всю ночь он и простоял, прильнув к окну, и мимо неслись, вспыхивая под светом вагонных окон, придорожные кусты, столбы, полустанки. Иногда проносился встречный поезд, и чья-то жизнь мчалась обратно, а его, еще быстрее, прочь, и тогда замирало сердце, будто он падал в пропасть во сне, или как тогда, в Дербенте, вдруг земля ушла из-под ног... Это было их первое совместное путешествие и первое землетрясение, которое он испытал в жизни. И Саша втянул его в водоворот дорог, мотню по городам, в сумасшедшую погоню за руинами монастырей, дворцов, крепостей. Руины были Сашиной страстью. «Докричались», говорил он, поглаживая изъеденные временем камни какой-нибудь погибшей цивилизации. А еще он любил рассказы о чужой жизни и похороны. И везде у него были друзья, собутыльники, рассказчики, люди, живущие на отшибе, в одиночестве, незыблемым укладом. Каким-то нюхом на одиночество Саша везде находил отшельников и затворниц, даривших бескорыстный приют и оскомину неумной ласки. И рассказы, рассказы, рассказы, бесконечные рассказы о спутанной, сломанной, неудавшейся жизни...

И он следовал за Сашей везде и во всем. Слишком застенчивый, нерешительный и книжный, чувствуя свою слепоту к жизни, он обрел, наконец, своего поводыря. Волнуясь и стыдясь, он читал Саше свои первые литературные опыты и получал снисходительное одобрение, был влюблен и предан за счастливую возмож-

ность узнать так много новых мест и людей. Но со временем ему стало казаться странным это вечное Сашино беспокойство, непоседливость, когда после очередного путешествия можно было еще долго вспоминать и обдумывать, а Саша уже был полон новых планов, новых адресов и новых маршрутов. Он видел, как снедающая тоска странствий тянет Сашу все дальше и дальше, и в последнее время они часто спорили, даже до ссор, ибо была граница, которую он не мог преодолеть даже мысленно, за которой не видел смысла...

Так он и простоял всю ночь в пустом качающемся коридоре вагона, прижавшись к стеклу лбом, и видел свою тень, бегущую по откосу, а Саша безмятежно спал в купе, улыбаясь во сне; простоял, глядя в расступающуюся впереди ночь. Там, где небо светлело и тревожилось, лежала граница между мирами, к которой они спешили, и один спал, будто праведник, а другой, будто грешник, мучался.

Из-за бессонной ночи день в Бресте был затуманен. Долго, бесцельно и молчаливо кружились они по вокзалу. Сановито прохаживались таможенники, возбужденно бегали в радостном предчувствии сумасшедших чаевых носильщики, при этом по-свойски и деловито покрикивая на стоящих как в столбняке или лихорадочно суетящихся эмигрантов. Известная уже во всех уголках света от Калифорнии до Новой Зеландии Марья Степановна, как Будда, стояла посреди зала, принимая четвертные и устанавливая очередь поклаж. Через будни таможни шла живая История.

Уезжали из Риги, Минска, Бухары, Тбилиси, Дербента, Челябинска. Шла глубинка, с тюками, корытами, старыми чемоданами и сундуками, с младенцами и стариками, кланами и в одиночку. Все жались к своим,

почти никто не знакомился, хотя всем было по пути, страх и беспамятство стояли в глазах. Старый дербентский еврей, похожий на его отца, отчего стало немного страшно и странно, опустив голову, беззвучно шевелил губами; пышная, с огненно-рыжей гривой женщина кормила грудью ребенка, а рядом бежал, злился и что-то тараторил ее муж, видимо, раздражаясь тем, что все от нечего делать смотрели на ее грудь.

Стали пускать в таможенный зал, и пришла еще толпа поляков на тот же поезд, с коврами, кинокамерами, в косынках, бабы, совсем деревня, и лезли без очереди, путали церемониальный порядок, но не могли поскандальить из-за языкового барьера, и тарасились на скорбную процессию, любопытствуя у своих провожатых, а те объясняли им, что это евреи. Слышалось польское «жиди, жиди»...

Саша прошел первый, потому что был без багажа, с одной сумкой; а он, обойдя вокзал, как посоветовали опытные люди, видел из-за высоких черных прутьев забора, как Саша закуривает у рослого, представительного проводника, с каким жадным любопытством они поглядывают друг на друга, будто Саша давно не видел проводников, а проводник пассажиров, как Саша дымит и ходит вдоль вагона. А когда поезд тронулся, Саша по привычке вскочил на подножку последним, щелкнул под колеса окурков и, ошаривая взглядом вокзал, увидел его за забором, улыбнулся радостно и махнул рукой...

Он еще побродил по вокзалу, не зная, что теперь дальше. Носильщики таможи пересчитывали в сортире смятые червонцы; в очередях за билетами стояли солдаты, разодетые на зависть земляков в немецкие и чешские куртки и возвращающиеся в свои деревни с ухватками заграничных туристов и немецкими словечками; в ресторане, куда он зашел перекусить, компания

пьяных летчиков, совсем пацанов, с женами в крашенных буклях и пушистых полушубках всех цветов радуги, обмывала возвращение товарища. Всё, столь привычное раньше и незамечаемое, вдруг проступило с яркостью и показалось странным.

И снова поезд шел через ночь, но теперь обратно, зарываясь в пространство, уходя от границы, и вновь свет из вагонов вырывал из тьмы столбы и деревья, и он опять трясся в этом поезде, встречая свою тень, себя вчера, когда он также стоял у окна и по привычке раздваиваться и лицедействовать воображал себя на месте Саши, и прощался с собой так горько, мучительно и безвозвратно, будто и вправду не Сашу, а его уносила куда-то судьба, совсем уже не понимая, куда идет поезд, куда течет время и где теперь он сам... Он вспомнил, как они прощались, и Саша сказал:

— Ну, пока. Давай... Уверен, что через год, от силы два, я буду встречать тебя.

Он вспомнил, как нервно Саша курил у вагона, оставшись один на один со своей дорогой, и ему стало больно в сердце оттого, что он вовсе не был в этом уверен.

СОЛДАТСКОЕ

Безлунная ночь. Слабо горит костер. Возле него, на бревнах, двое солдат, закутанные в одеяла. Один молча, в полудрёме смотрит на огонь, другой часто вскакивает, подкладывает в огонь доски, расшивеливает головешки, рассказывает.

— ...из трех лет, блять, восемь месяцев я был дома, неплохо?! Тесть мой будущий в военкомате работал, так устроил меня рядом, в семидесяти километрах под городом, в стройбат нахуй, сварщиком. В начале я глухо торчал, безвылазно, не дают нихуя увольнительную, так я жене говорю, когда приехала меня навестить, женаты мы еще тогда не были, так я говорю: сделай мне, блять, телеграммку какую-нибудь, что мамка, мол, заболела или еще чего, ну, сделали мне нахуй телеграммку, иду я к командиру, капитан Башин такой был, комроты, сука, говорю: вот, телеграммку получил, мамка болеет. Не пизди, говорит. Как хотите, говорю, воля ваша, блять, но мамка нахуй болеет. Ладно, говорит. На один день, сука, дал увольнительную! Так жинка меня, блять, подкузьмила, письмо прислала, что, мол, послали тебе телеграммку, так ты не беспокойся, мама здорова, ждет тебя, торт купили и прочее. Начальство, конечно, прочло, у них это бли хохмот¹, блять, они от скуки, блять, не то что письма, романы даже читали.., приезжаю я, блять, собрали роту, капитан, сука, прохаживается так вдоль строя, руки за спиной, фашист еба-

¹ Не мудрствуя лукаво (*ивр.*).

ный, говорит: «На каждую хитрую еврейскую жопу есть русский хуй с винтом! Рядовой Нудельман! Два шага вперед!» Рота, блять, вся гогочет — жида за жопу взяли, удовольствие! «Будешь, блять, весь день работать на мешалке — самое противное место было — а потом туалет пойдешь чистить, и так всю неделю, пока торт из жопы не выйдет, а в конце недели на губу сядешь». Рота, блять, ржет! Ну, хули делать, чистил. Но я теще своей отписал с оказией про эту «еврейскую жопу», а она у меня, блять, коммунистка такая была, блять, секретарь завкома, такая, блять, прямая, не хотела меня даже в Изра'иль пускать, насили уломали... так она сама в гости приехала, нас как раз построили, идет, блять, а она такая симпатичная, ядреная телка была, старшина наш закашлялся, кто такая, блять? А она прямо на него: Где ваш командир?» Дома, говорит, приболел нахуй, температура у него. Пошла она к Башину, через пару часов выходит, Нолик, говорит, все в ажуре, будешь, блять, как все, домой ездить.

Башин, блять, меня потом два месяца избегал, и домой я уходил на все праздники нахуй, даже на субботы, блять. А когда женился, блять, так вообще, блять, почти месяц гулял. Прихожу к нему: товарищ капитан, я жениться хочу. Комбату сказал? Вот, иди, скажи. Топорков у нас был такой, комбат, майор, ничего мужик, умер потом, я ему еще ограду варил.., прихожу к нему, говорю: жениться хочу. Комроты сказал? Не возражает? Ну, хули, говорит, женись. Туда-сюда, кругом-бегом — две недели отпуска. А там я еще проболлестенил с недельку, так что почти месяц и вышел... А однажды отозвал меня Башин в сторону: сапожки достать можешь? Хули, думаю, достану — не достану, а дома побываю. Приехал, говорю: мам, сапожки нужны. А у нас толчок был в городе знатный, все достать можно было. Пошла она, переплатила, достала сапожки, привез Башину — доволен, сука! Через некоторое время

опять меня отзывает: сифоны достать можешь? Тогда вышли такие, металлические, хуль, говорю, достану. В общем, стал я у них за снабженца. Однажды сам Топорков вызывает, говорит: слышал я, ты все достать можешь? Шубу жене можешь достать? А тут как раз посылки из Израиля стали приходить, и там шубки такие были, искусственные, пушистые нахуй, так я ему такую шубку привез, жена его, как одела, так мокрая, блять, вся стала, Топорков говорит: коньячку, может, выпьешь? Ну, не отказался я. В общем, когда хотел — домой ходил. А потом вообще перевели меня в город, строили мы там дом для офицеров, совсем рядом с нами, десять минут ходьбы, так я вообще ночевал дома...

Застучал пулемет, недалеко, защелкали отрывочные выстрелы, забрехали псы. Смолкло. Только псы лаяли. Еще выстрел. Словоохотливый солдат подошел к забору. Талый снег у забора заledenел за ночь. Далеко внизу сиял огнями Бейрут, как праздничный торт с миллионом свечей. Опять раздались выстрелы, совсем рядом. Солдат вернулся к костру.

— Шалят, бляди. И чего им не спится...

Перестрелка длится с полчаса, потом внезапно прекращается. Рассказ поплыл дальше.

— ... танцевать я любил ужасно, и целоваться. Собирались мы на Кобылянской и шли на танцы, в клуб Текстильщиков, или в школу к кому-нибудь. Помню одну телочку склеил в клубе, двадцать четыре года ей было, в Университете училась, она меня целоваться научила, ох, как любила сосаться, как я. Пососались мы с ней с неделю и все, купила она мне билеты в театр и говорит: «Бай-бай, мальчик!» Ей заин¹, блять, нужен был, а не пососочки мои, а мне что, я только в девятом классе был, нихуя не знал. Такая телочка была! Дыньки — вот такие! Как на плечи положит, так я мокрый!

¹ Член (*ивр.* сленг).

В общем, чувствую, пора мне, пора, блять, с девственностью кончать. Вот идем мы однажды вдвоем по улице, мимо одного дома, видим — три бляди в окне, а это такой полуподвал был, лежат там в брюках, тогда брюки только стали в моду входить, волосы длинные, две черные бляди и одна белая. Кинули мы им паклю горящую в окно, в общем, выкурили их, пошли гулять, потом жались на скамейке, а она все жметса, как целка, строит из себя, а сама блядища-блядищей, на следующий день в лес поехали, достала мой инструмент, надрачила, я и слил нахуй на газетку — сидит, блять, рассматривает. Так с неделю мы с ней гуляли, она даже в школу приходила меня встречать, а я ужасно стеснялся, особенно по городу с ней ходить, ей было лет двадцать восемь, а мне шестнадцать, крашенная такая, блять, глаза подведенные, сразу видно, что проститутка. В общем, говорю я ей: хватит дурочку валять, у меня уже хуй от спермы лопається, давай, говорю, покажи как это делается. Легла она, сука, там такая скамеечка узкая была, легла на нее, раздвинулась, а я никак, блять, не могу пристроиться, то слишком высоко, то слишком низко, в общем, долго она со мной возилась, пока не попал я туда — пизда с два кулака, болтаюсь между стенками... Противно потом было ужасно, и не хотел больше с ней, а приходил... Пилились так с полгода. Странная была, коснешься — аж дрожит, что-то страшное. Но это все херня, развернулся я уже после армии, уже женат был, я тогда в Горгазе работал, мне и говорили ребята: в Горгаз пойдешь — бараться будешь за милую душу. Сначала-то я не понял что к чему: бабы сами лезли, придешь газ чинить, трешку сунет тебе и сама лезет, а потом, бля-а!, такой наглый стал! Заранее, перед тем как на шетах¹ выйти, проверял по списку кто замужем, семейное положение значит, ну, заходишь

¹ В данном контексте — «на объект» (ивр.).

так, газ починил, она тебе трешку, хочешь выпить?, а я ее, ни слова не говоря — за сисю, туда-сюда, тут же вынимаю, сую ей в руку, железный, между прочим, способ, ребята научили: как в руку ей сунул, как она это дело почувствует — все, блять. Вначале с одной так схватился, а она говорит: не могу, у меня месячные. Вот, блять, мазаль¹, думаю, но нихуя, титьки ее достал, сунул между ними и давай натирать, так прям на шею и пролил. В общем, лафа была житуха: и деньги колымные, и бабы каждый день. И не только незамужние, всякие. Потом насобачился, так прям при детях, чуть ли не муж в соседней комнате. В основном украинки бабы были, ох, ебучие! Однажды прихожу, муж дома, так в ванне меня зажала, тесно, и жопой курутит, я ее, суку, за жопу! Подожди, говорит, муж сейчас на работу уйдет. Вставил я ей четыре пистона, трояк в зубы и пошел. Даже с еврейской одной дело было, с замужней. Потом я через несколько месяцев опять к ней зашел, а она с пузом, нелзя, говорит. Ни хуя, говорю, я уже настроился, давай сюда очко, аккуратненько, в полхуя сгоняли... С одной долго у меня было, я ее как-то на балкончике приметил, такая телка была сочная, лет тридцать, а мне года двадцать два. Смотрю, у нее под камфоркой факел, непорядок, говорю, хозяйка, коптит камфорочка, чинить надо. Ну что ж, говорит, чини. Пятнадцать рублей. Ладно, говорит, хулишь. Починил, а она мне еще трояк сует. Взял я трояк и за жопу ее. Нет, говорит, не здесь. Дома не ебля. Встретились мы на хате, подружка ей ключи давала, принесла жратухи, окорочки, муж на мясокомбинате работал, водочку, закусили — и в койку. Ух, и голодная была! Пока все из меня не высосала — не отпустила! И все сама. Ты говорит, не шевелись, я все сама. Облизала сверху донизу, тогда это в первый

¹ повезло (ивр.).

раз у меня было, я ей аж в горло запихнул и спустил, закашлялась, чуть не задохнулась, даже испугался, может не надо так, говорю, нухуя, только кончу, сразу в рот и давай сосать-лизать, пока снова не встанет. По пяти пистонов я ей вставлял. Не то, что жене. Жене бекоши¹ пару поставишь, и то поднатужившись... Эх, весело жили! Рестораны, кино, туда-сюда, не то что тут. Тут даже купить себе чего из тряпок, так никакого удовольствия. Я уже год никаких тряпок себе не покупал, а там: джинсы оторвешь — месяц счастлив, рубашечку какую фирменную — неделю веселье. Потом у нас с поляками началось, стали мы город-транзит, через нас поляки в Румынию ездили, в Венгрию и обратно, и пошло, блять: цо пан хце, мы им золотишко, они нам тряпки, такие деньги завелись, чуть машину не купил. Уже сговорились с одним, «Запорожец», за четыре двести, говорит, а у меня только четыре куска было, не взял. И слава богу, через две недели мы разрешение получили, чтоб я с ней делал? А вообще с машиной хорошо, на рыбалку можно ездить, и телок навалом, с машиной вообще без проблем. Я одну в ресторане склеил, такая была телочка, такие дынечки! Машина, говорит, есть? Нету, говорю. Значит нухуя, говорит. Только с машиной. Кататься любила, блять...

Были собаки. Подброшенная в огонь сырая доска шипела, дымила, брызгала искрами.

— ...С этой-то? Эту я до самого отъезда тянул-потягивал, стала мне подарки дарить, а куда их денешь, домой не принесешь же, хорошо работа такая была, что на базе все время подмазывать надо было, так на это сгодились, а потом уже стала мне пакости делать, про жену всякое говорила, в общем, хотела, блять, разбить семью, так что пришлось мне завязать с ней. На рыбалку все рвалась поехать. А я на рыбалку один ездил. Си-

¹ с трудом (*ивр.*).

дишь так с рассвета до заката — хорошо! Спал один, в палатке, нихуя не боялся. А однажды — смех! Шум-гам-трах — такси! Жена! Выскочила, где, говорит, эта блять?! А я смеюсь, вон, говорю, круги пошли по озеру. Смех! Думала я на рыбалку с блядьми поеду, дура...

А перед отъездом, когда отвальную делали, друг один такую телочку привел — пиздец! Я улизнул с ней — шум-гам был, улизнул, и в подъезде стояка ей как впорол! Такая телочка была, такое тело! Что ж ты, блять, говорю, где ж ты раньше-то была, чтоб в последний день?! Неохота уезжать было, до того телочка была сладкая.

А здесь, я тебе скажу, не то. Пойти некуда, да все друзья — а у меня все друзья тут — по домам сидят, даже друг к дружке не ходят, напоепали эти видео, блять, скукотища. Зашел недавно к одному другу, сели пожрать, включил он мне эти «голубые», блять, кассеты, как в три хуя сосут и ебутся этажеркой, и вот она им грызет, один черный хуй, другой белый, как грибки рядом, и вот грызет под музыку, то один, то другой, и сперму слизывает, тьфу, ебаныврот!

Чего ж не ешь, друг говорит. Да как вы, говорю, под такое есть можете, тошнит же, блять! Смеется. Тов¹, говорю, ладно, аппетит у меня появился, только в другом месте, поеду домой, жену пораду.

1983 г. Бахамдун, Ливанская ССР

¹ Хорошо (ивр.).

СМЕРТЕЛЬНАЯ УЛЫБКА

Левку Геллера убили на его пятидесятилетие в ресторане «Русалка» в Ашдоде.

Могли бы и раньше убить: драчлив был.

Он пришел к нам в школу в последнем классе и поразил меня силой, красотой и бесстрашием. Настоящий атлет: рост 184, широкие плечи, рельефные мышцы, он сразу стал ключевым игроком в нашей баскетбольной и волейбольной сборной и кумиром девчонок. Ребятам он нравился меньше. Рядом с ним легко было почувствовать себя трусом. Он вступал в драку всегда. Благо в поводах не было недостатка. В его бесстрашии было что-то пугающее, что-то неестественное, не от мира сего. Он искал боя, как наркоман свою порцию. И меня тянуло к нему с замиранием сердца, как тянет край пропасти. Страх падения всегда таит в себе безумную надежду полета...

Начал Левка с того, что избил двух пацанов в нашем классе, которых даже учителя побаивались. Шпанистые такие ребята, один — плюгавенький Толик, всегда питюкал что-то насчет евреев, другой — сутулый и долговязый Ваня, царил в туалете, медлительно и угрюмо раскуривая свои вонючие самокрутки. Их уже несколько раз выгоняли из школы, но так и не выгнали. Мы давно вместе учились, и меня они не задевали. Это произошло на уроке физкультуры, одним из первых после его прихода. Толик показал пальцем на обрезанный Левкин член: «Глянь, робя! Яврей!» Ничего принципиально обидного в этих словах не было, тем

более, что и член был не обидный. Ну, еврей. Хотя, конечно, это был выпад, проверка на вшивость. Вызов был в самом тоне. Вызов и неприязнь.

И тут я впервые увидел Левкину «смертельную улыбку»: сжатые губы, и левый уголок насмешливо опущен вниз, улыбку, которая всегда означала одно: быть драке. Даже не одев трусы (эта деталь произвела на меня особенно сильное впечатление, и мое внимание было больше сосредоточено на балетных прыжках «свободного члена» чем на движениях левкиных рук и ног), Левка подошел к Толику и вырубил его, я даже не заметил как. Толик оказался на полу и без чувств. Потом, очнувшись, заплакал, трогая челюсть. Крови не было. Долговязый Ваня поднялся, было, но на помощь Толику не пришел: сразу понял, что ловить тут нечего. Но когда Левка отошел к своему месту, он прошипел: «Зря ты так, паря». Левка воспринял это, как угрозу, и направился к Ване. Тот попробовал защищаться, но толку в этом было мало, и он тоже очутился на полу. «Ладно-ладно», — сказал он, не поднимаясь, полагая, что лежачих не бьют. Но Левка бил и лежачих. Он всегда бил до тех пор, пока не становился убедительным. Признаться, я испугался. Когда тебя у выхода из школы встретит кодла человек в двадцать, никакая сила не поможет. Но произошло необъяснимое: ни на следующий день, ни через неделю жиды не поджидали. Неужто, в это трудно было поверить: Ваня с Толиком отказались от мести?

Конечно, я понапрасну предавался иллюзиям. Просто уверенные в мести никогда не спешат: зачем лишать себя наслаждения предвкушением. Вот и сладострастники Востока учат: месть это блюдо, которое надо подавать холодным.

Как-то осенью, то, чего я так опасался, случилось. Была какая-то игра по волейболу между школами, за-

тянувшаяся до темноты (я тоже играл за сборную школы), и мы целой толпой, распаренные после игры, вместе с немногочисленными болельщиками, высыпали на морозный воздух. С нами был еще Лазик, Левкин приятель, года на два старше, мастер спорта по классической борьбе в легком весе. Он был маленький, квадратный и неинтеллигентный: безостановочно матюгался и нехорошо говорил о девушках. А я о девушках мечтал, и такое поношение мечты меня не только корбило, но, откровенно говоря, вызывало желание дать отпор. Конечно, я ничего не предпринимал в этом направлении, понимая, что бесполезно, меня неправильно поймут, тем более что до того памятного вечера мы встречались не часто: иногда он приходил «поболеть» за Левку. Вообще, Лазик был «не моей стаи». (То есть я презирал и ненавидел любые «стаи», я любил образ «одинокого волка».) Хотя и сразу видно было, что паренек боевой, его боевитость не радовала, в ней было что-то хищное и коварное. Уже не говоря о том, что до сих пор такого примитивного еврея я никогда не встречал. Все его разговоры были о том, как «мы им вломили», или «накостыляли», и какой счастливице он в очередной раз взломал «мохнатый сейф». Он был скорее похож на тех, кого я ненавидел и обходил стороной, фантазируя об уничтожении их бесчисленных и безликих орд каким-нибудь волшебным мечом. Ненавидел, потому что боялся? Наверное. Хотя в бою лицом к лицу, особенно после того, как стал, с подачи Левки, заниматься боксом, чувствовал себя вполне уверенно. Но кто ж толкует о поединках.

Во дворе школы крутился Толик, а за воротами темнела людская масса неопределенных размеров. Все кто вышел с нами из школы внезапно исчезли: через забор и огородами, огородами. Толик подошел с торжествующей улыбкой. «Ну чо, робя, как поиграли?» И до-

бавил: «Пошли, провожу. А то хулиганов столько в нашем районе...» Ах, как мне тоже захотелось удрать, или спрятаться в школе! Но помешал стыд перед Левкой, да и события стали разворачиваться с такой стремительностью, что я уже не мог никуда от них деться. В ответ на издевательское предложение Толика (я еще отметил про себя, что, наверное, принял бы его, мы же давно знали друг друга, с седьмого класса вместе учились, в походы ходили, я даже списывать ему давал) Левка, ни слова ни говоря, уронив спортивную сумку, ударил его, и Толик упал, а Лазик, неожиданно быстро растегнув Левкину сумку, достал оттуда увесистый гладкий сук, почти метровый, с рукояткой в несколько слов черной изоленты, и, подойдя к неподвижно лежавшему Толику, со всей силы ударил его по пальцам руки. Я чуть не вскрикнул: «Ты что!», но крик застрял у меня в глотке, кричать было поздно. Меня охватил смертельный испуг, с которым неожиданно смешался дикий восторг свершающихся грез: вот так сжигают мосты и переходят Рубикон! От боли Толик очнулся и закричал, успел получить удар по второй руке, вскочил и попытался бежать, но получил удар по колену и снова упал, и нелепо пополз... Левка, нагнувшись к своей сумке, которая оказалась складом оружия, достал из нее два кастета (толпа за воротами школы заволновалась и двинулась к узкой калитке) и надел их, а потом, как будто вспомнив про меня, снял один и кинул мне: «Держи!». Вместе с Лазиком они уже легким, нарастающим бегом направлялись к калитке, и мне ничего не оставалось, как присоединиться. Я только успел отметить удивившую меня решительность, какую-то безоглядность их бега... Я-то, конечно, оглянулся: может быть, кто-то из наших ребят еще остался и не сбежал, может быть кто-то из взрослых, из учителей в этот момент выйдет из школы и спасет нас, может быть еще

остался путь к отступлению, если нас не обходят с флангов... Через калику успело просочиться несколько человек, пять или шесть, и... я увидел плотную фигуру, веснушки и почувствовал удар в лицо, скользящий, он только обжег меня, кто-то еще набегал слева, и одновременно возникла боль в пальцах от собственного удара кастетом, холодным и тяжелым, который вошел в веснушчатое лицо, как осадной «баран» в городские ворота, раздался хруст, парень упал, набегающий слева попытался толкнуть меня (потом, уже, поднаторев благодаря Левке во всяких стычках, я понял, что при численном преимуществе это верная тактика: когда тебя сбили с ног, ты бессилен), но я увернулся, набегающий получил неожиданный удар ногой в спину от Левки... Криков я не слышал, я слышал только свое сердце, которое тяжелыми, частыми ударами ломало грудную клетку, увидел, что несколько человек валяются у калитки, а остальная толпа мечется за воротами, размахивая руками и обещая нам немедленную смерть. Я увидел Лазика, спокойно стоящего по нашу сторону от этой калитки, поигрывающего своей «палицей» и что-то матерной скороговоркой объясняющего ребятам по ту сторону насчет «Савеловского», который завтра же сюда явится. Часто мелькало слово «бля», а также дополнительные, малознакомые мне тогда, изыски народной речи.

Кто-то из школы вызвал милицию, и все разбежались. В конечном итоге все утряслось, и трупов не было. Видно, шпана оказалась не такая крутая, и вообще, как подтвердилось, все решает не баланс силы, а баланс страха. Или бесстрашия. А настоящее бесстрашие есть болезнь, бешенство, одержимость. Его нельзя сокрушить силой или покорить уступкой. Можно только сравнять с землей ту крепость, где оно засело, уничтожить тело, в котором поселился этот «злой дух». Левка

казался мне одержимым таким «духом». Он мне казался героем. Смелость же Лазика была просто уверенностью и чувством превосходства. Легендарные для меня ужасы поножовщины и побоищ стенка на стенку для Лазика, как я теперь понимаю, были средой обитания (он вообще с «выкидухой» не расставался, но в тот раз не вытащил, знал, что не понадобится). Видимо, в его голосе и облике присутствовало нечто такое, что убедило ребят, собравшихся по ту сторону калитки, что Лазик не берет их «на понт», что Лазик «серьезный пацан». Серьезней чем они. И они испугались его так же, как я боялся Толика, будучи уверен в его мистических связях с местной «шпаной».

Я никогда раньше не пользовался кастетом, и вообще, за год до этого впервые в жизни ударив одного парня в лицо, переживал потом это событие, как потерю девственности. Но в этой битве у школы, вернее, после нее, одурманенный радостью победы, вспоминая тот жуткий хруст, следовавший за ударом кулака с кастетом, я вдруг поймал себя на упоительном наслаждении собственной сокрушительной силой. А может быть, я только об этом и мечтал «втайне», воображая себя «выше» безликих масс, — о власти, которая дается только страхом перед безжалостной силой?

Так или иначе, но нас больше не трогали. Что касается меня, то я с тех пор поздно вечером в школе не оставался и за сборную больше не играл: шел последний год в школе, я «тянул на медаль», готовился в институт, да и спортом решил заняться более полезным и серьезно.

Левка отвел меня в клуб «Динамо», в котором уже года три занимался боксом, и я тоже приобщился к этому суровому виду спорта, прямо скажем, не без удовольствия. Ростом я бы пониже, всего 175, хотя всем,

особенно девушкам, говорил, что у меня 178, и даже подкладывал в ботинки прокладки. 175 считался «средним ростом», такой верхней планкой «среднего», а мне хотелось быть «высоким» (через полгода занятий боксом я стал честнее, перестал подкладывать в ботинки прокладки и говорил, что у меня метр семьдесят шесть). Весу во мне было тогда чуть больше семидесяти, что для такого роста было многовато, и моя жизнь в боксе была не из легких. Противники всегда были выше и шире (зато я был плотнее), так что спасала только «реакция». Я над ней и работал. Тренером секции был Семен Иосифович Каценельсон, жуткий крикун и матерщинник, и ко всему еще пьяница, но нас, особенно Левку, он привечал. Лазик одно время занимался рядом, в секции «классиков», а потом стал тренироваться со сборной Москвы.

Эта схватка у школы сблизила нас, и одно время мы вместе ходили в кино, в кафе-мороженое, на танцы, или просто приставали к девицам на улицах. Левка служил наживкой, женский пол шел на него косяком, но сам он проявлял к этому улову удивлявшее меня равнодушие. В лучшем случае снисходительность. И это была не поза. Я тоже пытался быть снисходительным, но мне это плохо удавалось, и девицы сразу разоблачали во мне застенчивого сластолюбца, а Лазик и не пытался, он сходу, при первом же приближении к очередному женскому бастиону, шел на приступ. И, как не странно (для меня), эта грубоватая тактика оказывалась успешной. На каждом слете он докладывал нам об очередных победах. И деньжата у него водились, не совсем понятно откуда. Он охотно ссужал ими Левку, но я старался от их денежных дел держался подальше. Ходить с этой парочкой в кафе, а уж тем более на танцы, было просто рискованно: редкое посещение заканчивалось без приключений. Так что я был рад, когда в

конце концов наши пути разошлись. Я поступил в институт, Левка — в зубной техникум, а Лазик пошел по пути профессионала: боролся, подрабатывал тренером, потом сел за что-то. Теперь, по слухам, у него целая «империя» в Праге: казино, девочки, магазины. Левка тоже дошел до мастера спорта, даже занял однажды третье место на первенстве Москвы и с гордостью носил эту бронзовую медаль. Нос ему, конечно, сломали по ходу дела, и, в отличие от Роберта Кона, это не улучшило форму его носа: лицо стало каким-то приплюснутым. Потом Левка довольно рано женился, пошли дети, бокс он бросил, стал зубным техником, мы изредка встречались, пили пиво, вспоминая былые подвиги; как правило, он звонил, и мне трудно было ему отказать. Я все еще, по старой памяти, восхищался им. Хотя, конечно, общего было мало. Разве что наша глупая юность...

Как-то у нас на работе давали турпутевки: Новгород-Псков-Михайловское, жена не могла поехать, и я предложил Левке. Русская церковная архитектура не входила в число его эстетических пристрастий, но, как говорится, за компанию и жид повесился. В Пскове, уже поздно вечером, когда все разошлись дрыхнуть по номерам местной гостиницы, он предложил пойти в ресторан. Мне не очень хотелось: в рестораны я сам никогда не ходил, не моё это всё, и устал, и откровенно говоря, опасался очередного Левкиного буйства, но он так просил, и так маялся от скуки всю эту поездку (только посещение пушкинских мест немного расшевелило бойца и, обозревая посмертную маску великого поэта, он шепнул мне на ухо: «На еврея похож»), что я счел своим долгом хоть как-то скомпенсировать эти безропотные страдания. Тем более что был виноват: подбил друга на чуждое ему мероприятие. Мы вышли в

ночь, опять была глубокая осень. Вчера еще — чудесный солнечный день, а сейчас — ветрено и дождливо. Впереди мутно горели огни вокзального ресторана, и мы, не долго думая, туда и направились. Публикум был соответствующий. Внимание сразу привлекли три девицы, сидящие за одним из столиков, скромненько, с минеральной, одна мне показалась просто красавицей, но они более благосклонно поглядывали на соседний с нами столик, за которым сидело четверо крепеньких мужиков, вида, прямо скажем, неодухотворенного. Красавица, впрочем, глаз не сводила с Левки.

Вокзальные рестораны, русские кабаки! Поэзия разгула, тревожная музыка вольницы! Освободиться на Руси — распоясаться... Левка нырял в эту атмосферу, как садовод в благоуханье цветущего сада. Его ноздри начинали чувственно шевелиться, глаза гореть, и появлялась эта страшная, «смертельная» улыбка, как молния, предупреждающая о налетающей буре. Надо сказать, что и меня эта обстановочка дразнила и обволакивала... И когда местный джаз-банд ударил «Ливанское танго» (в дни юности его играли на всех пригородных танцплощадках), Левка вздрогнул, как будто его включили, вздрогнул и поднялся. Откуда, почему, из каких глубин отрочества или детства приходило это неукротимое опьянение, я не знал, но знал одно: быть драке. Я увидел, как он направился к столику с девицами и пригласил «красавицу», которая глаз с него не сводила. Девка была действительно ничего, ладная, одета, конечно, простовато, но я неуместных претензий к Пскову не предъявлял. Однако и меня зацепили эти тоскливые, блеющие звуки арабского танго. Я осмотрел двух других: одна была совсем уж вульгарна, да еще и угрюма, вторая выглядела повеселей, и, не забыв при этом произвести взглядом быструю рекогносцировку, я к ней и направился. А рекогносцировка, кстати, показала, что какие-то взаимоотношения (за нашей

спиной) развивались между столиком с четырьмя мужиками и столиком с девицами. Мужики, подозревая официанта, предложили ему преподнести девицам «от нашего стола» бутылку какого-то вина, что тот и сделал. Вульгарная, и притом деловитая, дала понять, что с благодарностью принимает. А мы с Левушкой пока радовали оркестрик и немногочисленный публикум своей, необычной в этих краях, танцевальной манерой. Левка вообще танцевал, как бог, да и я был неплох для любителя, особенно уважая твист. В десятом классе даже получил приз на школьном балу за исполнение твиста. С Оленькой Барсуковой... Танго я тоже умел танцевать по всем правилам, но партнерша меня не поддержала, и я перешел на обычное грациозное топтание. Когда танец кончился и мы, галантно раскланявшись с дамами, вернулись на место, один из мужиков подошел к столику с тремя девицами и, опершись на него с медвежьим изяществом, начал нехитрые ухаживания. Я внимательно рассмотрел эту компанию. Мужики лет сорока, плюс-минус, на столе три пустых бутылки водки и четвертая в разливе. Сидят молча, не шумят, даже не выглядят пьяными, и вида, несмотря на выпитое (или благодаря ему) довольно мрачного, прямо скажем, опасного. Я попытался определить, уголовнички, или просто суровые работяги, нет на работяг не смахивали, да работяги и деньгами такими не сорят в ресторанах, может, шоферня, дальнобойщики, все-таки легче, уж очень не хотелось связываться с уголовниками, а сердце чуяло, что идет к тому. Тем временем три девицы, красавица — явно неохотно, поднялись и в сопровождении косолапого направились к столику с мрачными мужиками. Тут же подсуетились официанты, были сдвинуты столы, поставлены новые приборы, стоял возбужденный шум сближения полов. Дело было сделано, картина ясна. Надо было переключаться, а еще лучше — сваливать. Но Левка уходить не хотел. Он был

в состоянии женщины, которую взволновали и бросили маяться своей взволнованностью. «Лева, — сказал я ему на полном серьезе, — я тебя умоляю. Не стоит связываться из-за каких-то пошлых девиц». Лева улыбнулся своей ужасной улыбкой: «А я и не собираюсь. Но мы же еще не доели и не допили. Да и куда спешить, недавно пришли».

Я мысленно обругал себя за параноидальность: позорник, вообразил себе со страху какую-то битву при Каннах, вот сейчас доедим антрекот... Левка еще заказал по бокалу «Муската», но я пить не стал. Все-таки подумал, что трезвость в решающий момент может оказаться единственным преимуществом. Заиграли фокстрот. Красавица бросила на Левку затуманенный взгляд (на щеке ее, рядом с голубым глазом, я заметил давно заживший след от пореза), Левка поднялся навстречу этому взгляду, девица тоже встала, улыбаясь, но один из мужиков, плотный, но низкорослый, проявил бдительность и вклинился между ними: «Это наша девушка», сказал он твердо, но без особой угрозы. Левка был не горазд на разговоры, он сделал шаг в сторону, обходя мужика, и протянул руку девице. Левкина победоносная наглость парализовала противника, девица уже взяла его за руку, и они шли к площадке для танцев. Помешать этому без скандала было уже невозможно, а скандалить мужики, видимо, не любили. И это было плохим признаком. Пока Левка танцевал, о чем-то пересмеиваясь с девицей, мужики внимательно оглядывали меня. Я думал только о том, как бы нам незаметно смыться, тем более что официант, подойдя чтобы убрать со стола, полушепотом посоветовал: «Шли бы вы отсюда, ребята, ей-богу».

Заглянув в мои испуганные глаза, Левка больше девицу не приглашал. Мы еще посидели некоторое время, потом расплатились и, в общем-то, можно было откланяться. Я обратил внимание на то, что один из

мужиков исчез, и решил, что он удалился, дабы не мешать парности составленного ансамбля, но через какое-то время он вернулся, и тут же вышел другой. Может, в туалет по очереди ходили? Я тоже предложил Левке выходить по одному. «Пошли, стратег», — сказал он, хлопнув меня по плечу и улыбнувшись. Я печально вздохнул, и мы тронулись.

Дождь перестал, но сильный ветер гонял мокрые листья, один, желтый, кленовый, налип на мою куртку и почему-то напомнил «желтый знак» со звездой Давида, и тут я увидел, как из-за ствола дерева вышел один из мужиков, самого несимпатичного вида, и, встав на нашем пути, щелкнул выкидухой. «Ну что, жидята», ласково начал он, сзади послышался топот, я обернулся и увидел остальных, бегущих в нашу сторону, хотел крикнуть «Атас!», но Левка уже атаковал мужика с ножом. Тот упал, Левка, ударив его тяжелым ботинком в голову, успел развернуться, чтобы встретить конную лаву... Они не ожидали от двух жидят такого наглого поведения, но и мы, я, во всяком случае, никак не ожидал с их стороны такой умелости, а точнее — стойкости, да еще в сочетании с неожиданной трезвостью. Конечно, они двигались медленнее, неповоротливее, но удары, которые должны были, ну просто обязаны были, сбить с ног, приводили их только к мгновенному замешательству, может быть алкоголь в сочетании с холодом ночи сделал их тела бесчувственными? Главное было держаться на расстоянии и не дать им войти в клинч. Я увидел, как один бросился Левке в ноги и, даже получив удар ботинком, зацепился за ногу, другой налетел и они все трое упали. Я обрабатывал своего спарринг-партнера по всем правилам, но он только качал головой и удивленно поднимал брови, этаким пенек, впрочем, отвечать он уже не мог и в конце концов рухнул, тогда я бросился помогать Левке, вместе мы кое-как отцепились от уставших и отяжелевших мужи-

ков, в это время поднялся тот, первый, он стоял не-твердо, но я не дал Левке продолжить и потянул его в сторону: «Ходу, ходу!» Пока мы бежали, пошел дождь, я размазал по лицу капли и удивился боли и крови: с ладони стекали розовые струйки...

Постепенно тело обрело чувствительность и я осознал, что у меня болит голова, и руки, и ноги, и ребра, и ключицы, лицо горело, и все болело на нем: нос, брови, губы, челюсти. У самой гостиницы мы почти одновременно посмотрели друг на друга и хмыкнули. «Неплохо тебя», — сказал Левка. «Тебя тоже культурно», — сказал я. Левка держался рукой где-то в районе груди, чуть ниже. В номере выяснилось, что у него сильный порез под ребрами. Разбудили нашего экскурсовода, повезли Левку в больницу, зашили. Пришлось и протокол составить. Мы сказали, что какие-то хулиганы на нас напали на улице. Я после всего этого еще всю ночь не спал и только слышал, как Левка безмятежно посапывает, как женщина, дождавшаяся, наконец, про-никновенного отношения.

Я был зол на него за это побоище. Я не видел никакого смысла в том, чтобы так рисковать жизнью. С этого момента наши отношения охладели, и общение почти прекратилось. Но потом нас неожиданно сблизил отъезд. Мы никогда (а почему, вот странно?) не говорили на эти темы, и вдруг я встретил его в очереди к нотариусу, заверявшему документы на выезд. Выяснилось, что и он — в Израиль. Выехали мы с разницей в пару недель и первое время в Израиле периодически созванивались и даже встречались семьями (у него была красивая жена и две дочки), но все реже и реже, тем более, что он обосновался в Иерусалиме, а я — в Холоне. Он навязчиво звонил, говорил, что «будет в Тель-Авиве», «надо встретиться». Мы даже сходили однажды в единственный русский ресторан на набережной, «Пирожок», где Левку, при звуках песни

Шуфутинского «Гулять так гулять, стрелять так стрелять», опять охватило какое-то мрачное возбуждение и он совершил неизбежную, как ритуал, попытку пригласить кого-то «выйти, поговорить». В конце концов, это было просто смешно. Народ в наших краях был тогда мирный, интеллигентный, к тому же Левка с годами погрузнел, что делало его фигуру пугающе могучей, так что потакать Левкиным слабостям, мужскую честь свою защищать, вызванные на бой не собирались. Видно, смолоду не берегли.

В девяностые, когда под еврейскими хоругвями уже хлынула «русь», открылось множество русских кабаков, и возникла мода отмечать в них дни рождения и всякие юбилеи. Приходилось посещать, чтобы социально не отрываться, хотя я и в Москве ресторанов терпеть не мог, а тут еще этот захолустный шик, тяжелые красные гардины на окнах, водка рекой, певцы-затейники с неизменным: «сегодня у наших дорогих гостей Хаима и Ляли серебряная свадьба! Попросим их на сцену!» Обычно в ресторане справляли несколько торжеств: в одном углу — серебряную свадьбу, в другом — золотую, посерединке — пятидесятилетие, а в самом дальнем — кому-то бабахнуло семьдесят. Все компании встречались на танцплощадке и лихо отплясывали всё, что было модно в Советском Союзе в пятидесятые, шестидесятые, семидесятые, а то и в сороковые роковые.

Не пойти на Левкино пятидесятилетие я не мог. Уже приближаясь к месту, подивился его нелепому вкусу: зарабатывал он хорошо и мог бы себе позволить снять приличный ресторан. В этой приморской забегаловке явно собирались девочки из соседних массажных кабинетов, отдохнуть и расслабиться после трудов праведных. Впрочем, хозяин расстарался: заказал даже эстрадную труппу. Куколки в звездных чулочках и ярких блестящих блузочках, с перьями на голове и сзади,

задирали ножки, пели, выхватывали из толпы пожилых мужчин и плясали с ними цыганочку, разносили конфеты и зажигали бенгальские огни. Потом одной даже повесили на шею питона, и она грубовато извивалась под этим ленивым секс-символом. Вино лилось рекой, зачитывались телеграммы от тети Хаи из Шанхая и тети Муси из Беларуси, от дяди Зямы и от Далай Ламы, неумолимые рифмоплеты заводили многостраничные юбилейные реляции: «Чтобы Левчик наш родной счастлив был с родной женой!» Был даже «свадебный генерал», администратор больничной кассы, от которой работал Левка, по-русски он не понимал, но, быстро налакавшись, рвался спеть «Калынка-калынка, калынка моя...»

В ресторане гуляло еще несколько компаний, а в углу сидели три девки, какое-нибудь Приднестровье или Донбасс, а с ними что-то косоглазое-монголоидное, две девки были жирные, размалеванные, а одна ничего, высокая и фигуристая, и хорошо танцевала. Музыка была зажигательная, девочки выпили и скромненько, место свое знали, танцевали сами с собой в углу, жирные с загадочными улыбками тети Лизы величаво крутили задницами, а стройная очень эффектно извивалась, такие три грации...

Левку занесло в их угол очередным пируэтом, и он оказался рядом со стройной, она игриво улыбнулась ему, плоскорылая, обнажив щербинку в зубах, и Левка подключил ее к общему кружению. Продолжали они танцевать и следующий танец, и следующий: наконец, Левка нашел достойную партнершу и отплясывал всем на зависть и удивление. На каком-то этапе к монголоиду подошел бритоголовый малый в спортивных штанах, взял одну из граций за волосы и нешуточно ударил ее мордой об стол, грация восприняла это с олимпийским спокойствием, достав из сумочки платочек, вытерла кровь, и они все поднялись с места и направи-

лись к выходу. Монголоид с широченными скулами, проходя мимо высокой и стройной, лихо отплясывавшей с Левкой, дружески хлопнул ее по крупу и сказал: «Ладно, пойдем», а когда она покорно остановилась и сделала шаг за ним, еще бросил эдак доброжелательно: «А старичок-то шустрый!» И опять я не успел среагировать, хотя танцевал рядом, или забыл уже чем всё это может кончиться, только увидел, как Левка выбросил руку и косоглазый упал. Бритоголовый обернулся, фигура его напряглась, но он выбрал ту же тактику олимпийского спокойствия, девки бросились откачивать монголоида, выбежал даже хозяин ресторана и стал что-то быстро-быстро и виновато ему лопотать. Монголоид медленно пришел в себя и злой, отмахнувшись от всех, вышел.

Мы все время от времени выходили на улицу, кто покурить, кто подышать свежим воздухом. Вышел и Левка, впрочем я этого не видел, я танцевал с женой и говорил ей, что пора, ситуация себя исчерпала, она, соглашаясь, кивнула, в это время раздался омерзительный женский визг, и сразу стало ясно: произошло что-то недоброе.

Потом рассказали, что на Левку вдруг напали три крепыша, и хоть он раскидал их, но получил две тяжелые ножевые раны. Когда я выбежал на улицу, он был еще жив, но взгляд уже терял ясность, а на губах играла улыбка, та самая. Я нагнулся к нему и услышал сипящий шепот: «Попались бы они мне в Пскове...»

МОСКВА, ЛЕТО, 1991 ГОД

9.7.91. Ночной рейс. В гостиницу привезли к пяти утра. Светает. Прохладно. Страшененько. Гостиница — небоскреб на пригорке. Напротив олимпийский комплекс. У входа огромный «Ниссан», у нас таких не видел. Короткий сон. С 9 утра — звонки: старым друзьям, адресатам поручений и передач. Шмулик, глава московского отделения, явился на общий завтрак. В ресторане никого кроме нашей группы. Завтрак поскромнее нашего армейского: кефир, крутые яйца, хлеб с маслом. Шмулик инструктировал и распределял. Хочет запиздить в Дубну, в Москве, мол, учеников нет. Фигушки, уж коли я через тринадцать лет до Москвы дорвался... Найду, говорю. Вышел из гостиницы деньги менять, сказали на углу. Сберкасса закрыта. Следующая — две остановки на автобусе. Перебежал дорогу. Очередь на автобус. Воздух, тучи, деревья, машины — все странно. Ноги не держат, как после тяжелой болезни. Автобуса долго нет. Поймал тачку. Деньги — сор бумажный, пьянящее ощущение. В 17 встреча с Борей и Озриком на Пушкинской. Пробежка по бульварам до Арбата. От болтовни сохнет рот. Какой-то угар. Едем к Боре. Дочка выросла, Марина не изменилась, стол — вполне. Отметим. Остался ночевать.

12.7. Последний завтрак для всей группы. Народ разъезжается. Маргариту — в Ленинград, приглашала. Еду к Саше. Передачи, разговоры, обмен денег, поиск квартиры, учеников. Вернулся в гостиницу. Поезд зрителей: письма, подарки, приветы, который день под-

ряд. Вызвали в пропускной отдел. Оказывается, каждый должен был получить пропуск. Старый изможденный гебешник за окошком стал орать, что это я тут устраиваю, кто я такой, откуда, вот он выяснит у кого следует, вот он выселит меня. Забрав мой паспорт, ушел. Девка, унылая, как вода в грязном пруду, не поднимала глаз. «Чо это с ним?» — весело спросил я, а сам-то струхнул. Замямлила что-то и зарделась. Гебешник вернулся, паспорт отдал, сказал, что больше никого не пустит ко мне, смотрел волком беззубым. Пришлось встречать народ на выходе из гостиницы. Примелькался охране.

13.7. Встреча с Вадимом. По дороге расквитался с оставшимися поручениями, забросил письма. Вадим не изменился. Подарил ему стильную маечку, жена выбирала. Двинулись старыми маршрутами: от «Проспекта Мира» через Дурова, Цветной, Петровку, Столешников. По дороге зашли в музей «18 век» в Рождественском монастыре, фотографировались, в музее никого, сторожа-бабуся, две девицы в кассе болтают-поглядывают. Гравюры, выцветший портрет Радищева (темное пятно вместо головы), вышли на балкон, бабуся переполошились — нельзя!, купола вокруг, стены крошатся, огромные деревья, пококетничали с девицами, завернули в закусочную, с голодухи сожрали «последнюю» курицу, всю в жире, кофе с пирожками, кофе добрый. Закололо в правом боку, от курицы? Или от ходьбы? Каблук отлетел. Зашли в мастерскую. Прибили гвоздями толщиной в палец. Заходили в книжные, накупил книг. На углу Столешникова купил у восточного человека арбуз перебить тяжелое куриное послевкусие и боль в боку. Остатки курицы Вадим в целлофановый мешочек собрал, коту, и остатки арбуза взял. У Почтамта позвонил Гандлевскому. Сережа пригласил на пьянку у Кибирова, в честь выхода книжки на родине,

в Осетии. Вадим поехал домой, я ему сбагрил книги, чтоб не тащиться. У Кибирова собралась семья и тесный круг: Файбисович, Саша Бродский, Лев Рубинштейн, Зайцев. Женщины особой породы подруг русских художников и поэтов. У нас нет таких. Жратва отменная, пилося легко. Размяк. Пели песни 30-х, «мы железным конем все поля обойдем», потом «новые»: «А кто там с горочки спустился». Похожее на четвергах у Зиника пели лет двадцать назад. Файбисович, жизнеобильный толстяк с вьющейся бородой задавал тон застолью. Лев Рубинштейн, заросший, с гнилыми зубами, подтягивал хриплым баском, шутовал. Тимура называл Кир Бюратором, песенки переиначивал, вместо «упала ничком» — «упала рачком». Тимур в круглых очках, радушен. Хитрец. Сережа нализался. Уговорил меня ехать завтра с ними на дачу, потащился к ним на Новокузнецкую ночевать, заодно посмотреть какие книги для меня купил и пленку Магарика послушать, уж очень тоскливо, как-то страшно было одному оставаться. Сережа по дороге горланил «взгляни, взгляни, в глаза мои суровые», матюкался и приставал к милиционерам, требуя, чтоб они подпевали, Лена его оттаскивала. Брели Замоскворечьем, Лена на нем висит, утихомиривает, я сзади плетусь. Дома еще пили кофе с мороженым, к трем улеглись кое-как в одной комнате, Сережа и в постели побуянил чуток, но утих все же. А я никак не мог заснуть. Под одной простыней было холодно, комната прокурена, тараканы гуляют, а под дверью, у самой головы, кот плачет.

14.7. Утром поехали на дачу, в Тучково. Все еще чувствую себя моряком, сошедшим на берег после бесконечно долгого плаванья: земля плывет, хочется держаться за что-то, за кого-то... Перед отъездом слушали записи Магарика, хасидские песни. Родным повеяло. С Наташей дуэтом, душевно выходит. Уже развелся с

ней. Поели кофию с сухарями и в путь. День солнечный. «Всех скорбящих радости» на Ордынке. Памятная, с Инной тут познакомился на всенощной, тогда в моде было — красиво поют. Вокзальная толпа. Полтора часа в набитой электричке. Автобус времен второй мировой, качает как лодку в шторм. По дороге громко спрашивал меня, что нового в Иерусалиме. Я испуганно озирался. А когда шли пешком к поселку (у придорожных заборов — мужики в майках, татуированные, с лопатами, с авоськами, поглядывают угрюмо, ни дать ни взять «худые мужики и злые бабы»), дождавшись момента, когда идущие впереди и сзади были достаточно далеко, твердо попросил его не раскрывать широкой публике мое инкогнито. Он сказал, что зря я волнуюсь, все теперь изменилось, никто ничего не боится, но если я чувствую себя неуверенно... Дачный поселок в ложбине. Готовили на костре. Картошка, лучок с грядки. Потом пошли на Москва-реку, купаться. Вода холодная и мутная, но не удержался, хочется ведь в ту же реку войти... «Ну, хвали! — гордился Сережа. — Чего ж ты не хвалишь!» К вечеру пошел звонить насчет квартиры. Телефон один на весь поселок, очередь. Стемнело. Электричество не провели еще. Так и не дозвонился. По дороге познакомился с мужиком, Юрий Аббович, видать из евреев, договорился вернуться утром на его машине в Москву. Жена его, древланка угрюмая, сразу невзлюбила, будто я Аббовича умыкну в Израиль. При свечах ели галушки с черной смородиной, Сережа прочитал два новых стихотворения, рассказывал байки. Что у Кенжеева хуй в банку не пролезает, «чудовищный хер», он теперь налеты на Москву совершает, свирепствует. Опять не спал из-за холода и жуткой тоски, заброшенности, одеяло не помогало, бил озноб, испугался, что заболел. Надел рубашку и свитер, кое-как унял дрожь. А в семь утра — будильник, не пропустить Аб-

бовича. Когда подошел к машине, он хлопотал с женой, что-то грузил, сказал им «доброе утро», древлянка в мою сторону даже не посмотрела, я подошел вплотную и сказал прямо ей в ухо: «С добрым утром!» Не повела ни ухом, ни рылом. С жидками, видать, кроме мужа не разговаривает. По дороге разболтались с Аббовичем, он с отцом Сережи вместе работал, соскочили на еврейскую тему и тут я открылся соплеменнику. «Я так и думал», сказал он, гордый своей догадливостью.

17.7. Вчера переехал на квартиру, Боря помог на своих «Жигулях». А квартиру Саша сосватал, свою бывшую, напротив дома, где мы жили перед отъездом. В общем, вернулся на ту же улицу, и вновь мы с Мишей соседи. Хозяйка меня помнит. Я-то ее — не очень. Квартира — хлев. И первый этаж, боязно. Прибрала чуток. Дочкина квартира, дочка в экспедициях. Саша говорит, что они нуждаются. Предложил сто долларов в неделю, но она возмутилась: я не могу с Вас такие деньги брать. (Сто долларов — три тысячи, зарплата за год и приличная.) С трудом уговорил на сто долларов за все время. Вечером той же тропинкой пошел к тете Жене. На корм зря рассчитывал, но пить, когда попросил, дали. Бабка при смерти. Стонет. Иссохшая. К ней и подходить не спешат, уже кукла. Я подошел. Тетя Женя ей: «Мама, мама, Нёма здесь! Слышишь? Нёма!» «Нёма?» — старуха встрепенулась и даже попыталась приподняться. «Нёма!» Приподяла руку, и я взял ее за костлявую кисть. Губы ее задрожали и глаза увлажнились. Она откинулась и снова застонала. Сестрица растолстела, распухла от самодовольства. Мужинёк перечислял достижения: машина, дача, работа, халтура, охота, рыбалка, не нужен нам берег турецкий.

Ночью жена звонила, приедет. Ну зачем, кричу ей, чо тут делать?! Встал рано, группу надо сколачивать. Зашел к Мише. Он похудел, высох. Зубы почернели. Ко-

вер в шерсти — две собаки. Собачий дух такой, что хоть беги. Стал окна распаивать. Миша, с места в карьер, подсунил свои переводы какой-то словацкой поэтессы, потом включил магнитофон, какую-то бабу, «чудно романсы поет», потом Горбачева, он его речи записывает. Восхищается: необыкновенный человек. «Ты только послушай!» Даже мои записи у него сохранились. Пока чай варганил, я гитару снял со стены и, на край стула присев — стул был чем-то заляпан — перебирал струны. От чая Миша возбудился, стал доказывать, что все суки, он один — честный. И как человек, и как писатель. А я — сломался в юности. Рассказал, что Сопровского машина сбила, когда он выходил с пьянки, с дня рождения Гандлевского, и что до пяти утра он пролежал около дома еще живой, вот какие они все суки, а я с ними вожусь, Пушкин тоже сука, должен был царя пристрелить, Вагинова он бы сам, своими руками, Аверинцев — тонкая сука, Израиль — тоже сука, угнетает арабов. Потом он перешел на страх, сказал, что уедет, потому что не может жить в постоянном животном страхе за свою жизнь, что я не представляю, какой антисемитизм, какая ненависть кругом, соседи на его собак покушались, даже напомнил мне — а я и забыл — фразу Бялика, о революции в России, которую я ему когда-то цитировал: «свинья перевернулась на другой бок», а я, опять зарываясь в споры, стал ловить его на логических противоречиях: как все это сочетается с его восхищением «перестойкой», и раз уж он всегда считал, что можно договориться с арабами, то что мешает ему с антисемитами договориться? «А потому что ненавижу», — изрек великий гуманист, — ненавижу!» Его страхи были так на мои похожи, что я вошел в настоящий параноидальный резонанс и поехал на свиданку с Инной сам не свой. Она это, конечно, заметила, но, может, приписала волнению встречи. Мы посидели в фое

нового киноцентра на Краснопресненской, шел сеанс, в фое никого, вообще никакого ажиотажа вокруг кинофестиваля не наблюдалось. Я распустил хвост: взял в буфете шампанское и бутерброды с семгой. Показывал фотографии. Она касалась меня, а я, как ёж, сворачивался. Посмотрели «Готику» Рассела. Как раз в тон. Страхи, страхи, страхи... Потом пошли через Воровского на Трубниковский, я искал свой дом возле американского консульства, фотографировал, опять пошел дождь. Почти весь день шел. У Миши за окном ливнем лил. Старый дом арбатского детства я нашел. Вошел через гулкую арку во двор, но «узнавания», совпадения с тем, что видел во снах и воображал, не произошло, ничто не шевельнулось. Посидели на скамейке в скверике у Церкви Спаса Преображения, может на той же скамейке, у которой я, на фотографии, стою зимой, шестилетний, закутанный в шубку и перевязанный шарфом... Я непрерывно фотографировал: деревья забрызганные дождем, церковь за деревьями, хипня на Арбате. Зашли в павильончик, взяли по стакану сока с пирогом. Она уже спешила, муж ждет. На Арбате темные людишки толкуются, пьянь, шпана, художники, скопление около гитариста-запевалы, кто-то под аркой на скрипке пилит, зеваки бредут хмуро. Она все пыталась рассеять мою тоску, но была не в силах.

Утром, как договорились, пошли с ней на «Раскаленное небо» Бертоллучи. Красивый фильм. И весь — напоминание: и «Алла-у-ахбар!», и синайские пейзажи, и даже любовная сцена у обрыва, над простирающейся внизу пустыней, над такой же лунной равниной в Негеве, на армейском одеяле, на тебе было розовое белье, и горы были розовые.., а сам тянусь к другой, к той, что рядом. Чувствую, что и ее тянет, друг друга касаемся, но как только рыпнулся в губы поцеловать, сделала игриво-испуганное лицо, мол, что это с вами, мусью.

Это оскорбило мой порыв, опять, как и тогда... ничего не изменилось. А в час встреча с Иосифом на Новослободской и — через Сущевский вал на Палиху, вдоль трамвайных путей, вдоль детской моей биографии. Усердно щелкаю фотиком, прошу Иосифа, чтоб увековечил меня у зарубок памяти: от Тихвинской почти ничего не осталось, только бани белокаменные на углу, вместо нашего двора — огромный провал пустыря, вот дома закадычных друзей Вовки и Мишки, начальная школа, дворец пионеров, где я рисованием занимался, у СТАНКИНа, среди развалин церкви, мы сражались на палках, мушкетеры с гвардейцами, у кинотеатра «Труд» липли зимой к запотевшим стеклам женской бани в подвале., и я всё рассказываю взахлеб о теперешней моей жизни там, на далекой планете... Подошли к МИИТу, у ворот трое пареньков в кепочках, с лицами, разглаженными благолепием, продают местную еврейскую газету, называется «Собеседник», беседы с Любавическим ребе, рядом с пареньками — румяные, крестьянского вида ребята, руки чешутся, но указаний не поступило, инициативу же проявлять не обучены; снисходительно бросаю сионским братьям «шалом», но никакого в ответ восторга, даже любопытства — сунули газетку и еще трешник содрали, будто я не в Законе. На площади Борьбы уселись в скверике, перешли на его жизнь тут, на книги, на Бахтина и Лосева, философию искусства, русскую идею. Речь его нервически соскакивает на мерзостный, нестерпимый антисемитизм русской интеллигенции («когда мне бородатый профессор начинает говорить о духовности, то я думаю: он меня сейчас будет резать, или погодит малость»), да, нестерпимо, но... единственная возможность «осуществиться». Как и тогда, всё, как и тогда. Тронулись дальше, мимо Мариинской больницы, театра Советской Армии, через бульвары к Почтамту на Ки-

ровской, заходя по дороге в книжные и обильно отовариваясь. На Почтамте отослали. Уже у метро попали в короткий и буйный дождь. К шести поехал к Саше на урок — первая группа начинала функционировать.

18.7. С утра поехал к Иосифу. Говорили о книжных делах: надо бы негоцию учредить, используя невероятную разницу в ценах. Прошлись по магазинам, отправили еще три посылки. Вернулись к нему домой. Иосиф дал почитать свою статью о Лосеве, и я на первой же странице заснул. Когда проснулся, Ира уже хлопотала около стола с салатами, водочкой. «Вот уж не думал, — сказал Иосиф, — что моя статья может иметь такой сногшибательный эффект». Ира, русская женщина, дочь полковника, хочет учить иврит, вместе с дочкой и дочкиным ухажером, русским пареньком Антошей. Если бы не русская идея Иосифа, они бы уже давно смотались.

19.7. Утром зашел к Мише. Разговор об основах бытия. Учил меня не бояться быть шизофреником. Ты же шизофреник, Наум, как и я. Убежал на встречу с Инной и Олей у Пушкинского музея. Оля работает в «Огоньке» и Инна решила, что она может мне помочь с публикацией. Познакомив нас, уехала на дачу — муж ждет. Уж не та ли эта Оля, в которую Миша был страшно влюблен (впрочем, влюблен он всегда страшно) лет 20 назад? Он тогда читал мне ее рассказы... Оля сказала, что стихи мои ей пристроить некуда, и я ожидал, что мы разбежимся, но почему-то потащились в музей, там была выставка английских гравюр 18 века (породистые суки и прочий охотничий антураж) и выставка коптских тканей, века шестого, краски еще живые. Потом пошли по Остоженке, Оля рассказывала о местных приходах. Сфотографировала меня у церкви Ильи Пророка. Мы еще долго сидели на скамейке у бассейна, сказала, что Храм собираются восстанавливать, поговори-

ли о христианском возрождении в России, об Александре Мене, которого она боготворит, обещала сводить в музей Корина. Логика затянувшейся встречи провоцировала на смелые предположения, но, учитывая ее религиозность, предпочел не делать неосторожных движений. Потом — на урок. Еще двое присоединились, Миша сосватал: Володя Казарновский с новой женой, я у него был перед самым отъездом, он кончил когда-то Литинститут, а теперь сторожит овец, не пишет, и еще странная особа, несколько распухшая, как на гормонах, несколько заторможенная и очень застенчивая. Поздно вечером зашел к Мише. Смотрели российские новости (у меня даже телевизора нет). Миша изумлялся моей растревоженности. «Ты ж, — говорит, — на родину вернулся. Как к старой бабе. Боишься вновь полюбить?» «Как к старой бабе, от которой еле удрал», — пробую отшутиться. Сидел допоздна, никак не мог растаться, как Оля со мной. Не могу один. Начинаю метаться, заполнять время встречами...

20.7. Встал поздно, полдевятого. Прочитал статью А. Панарина «Диалектика гуманизма» в «Коммунисте» — Мишин наказ, ищет коммунизм с человеческим лицом. Технологический способ существования, пафос открытий и прогресса сталкивается с пафосом «упрощения», опирающийся на прогнозы экологической катастрофы. Экологический гуманизм может столкнуться с «негуманными» аспектами перенаселения Земли. И что? Зашел к Мише. Рассказал о встрече с Олей и пошли воспоминания: «Надо ж, — он раскуривал трубку убойным табаком, углубляясь в воспоминания, — вот теперь даже странно, что были такие времена, когда в первый раз ебался, искал где пизда, хм, да, хм... надо сказать, что хоть я и философ, но более интересного поиска у меня в жизни не было... Ну, теперь-то я все это преодолел». Потом я поехал к тете Неле. Сыновья при-

шли, с которыми мы в детстве возились на общих семейных праздниках. Володина жена хочет ехать. Миша далек от всего этого. Дядя Григорий слаб и глух, после третьего инфаркта, но держится молодцом. Дед только недавно умер, был начштаба у Буденого. Пожрали, сфотографировались для мамы.

И опять я один. В чужой и нелюбимой стране. Читаю с тоски Барабанова в «Вопросах философии», о Чаадаеве, о «русской идее».

Иосиф сказал о моих стихах, что он по ним узнал обо мне гораздо больше, чем за все время общения, что я «узнаюсь» в них, что они очень «о себе».

Один. И странно, нет ни тяги к женщинам, ни ревности. Впрочем, сны. Сны об объятиях. С кем?

21.7. Встретился с дядей Валею и поехал с ним на кладбище. На могилу отца и бабушки. Нашел службу, Марка Исакыча, пусть заупокойную почитает. Договорился прибрать могилу, надписи подновить. Тяжело их оставлять в этой земле. Дядя Валя, бывший беспризорник и бывший актер, фактически член нашей семьи (отец подобрал его в Куйбышеве на улице во время войны), держится молодцом, хотя копна черных курчавых волос поредела, да и поседела изрядно. И стал неумеренно говорлив. Всех норовит излечить по своей системе «правильного дыхания». По дороге приставал к таксисту. Марка Исакыча, старика с палочкой, сагитировал дышать правильно, четвертым лёгким, чтоб ноги прошли. Марк Исакыч спросил, где дядя Валя принимает. Дядя Валя гордо сказал, что он уже не принимает в последнее время, только помогает страждущим. Он и 20 лет назад учил меня дышать правильно, по системе йогов. У метро расстались, поймав машину, я поехал к тете Иде. У Маринки, подруги детства, уже две дочери-девушки, муж — евреец с тягой к бизнесу, морочил голову «поставками». А сын тети Иды, оказы-

вается, в Беер-Шеве. Она переживает, чуть что — в слезы. Отобедали. Принял приветы и передачи. Поехал к Озрику на день рождения. Нина Григорьевна, выждав положенную паузу, вышла из маленькой смежной комнаты, как королева-мать в тронную залу, где собрались заморские гости. Сдала, конечно. Жена Озрика, полная особа с живыми глазками, в статусе домработницы из провинции. Наследница, пятилетняя юла, непрерывно танцует. Боря с Мариной пришли. Выпили. Завели разговорчики. Боря обычно осмеивает все и вся, но вдруг, незаметно для себя, начинает с серьезным видом рассуждать о высоком, тут уж моя очередь давиться от смеха. Озрик умен, но уж очень тюфяк. Подарил мне альбом Филонова и «Историю правления Генриха 7-ого» Френсиса Бекона. Так обожрался, что заснуть не смог, провалялся всю ночь без сна. А может потому, что жена позвонила? Завтра приезжает.

22.7. После бессонной ночи встал ранехонько, весь в поту, потащился в штаб, на Полянку, там еще одна группа сформировалась. Дал евреям урок. Народ немолодой, и никто пока никуда не едет, но у кого дети в Израиле, у кого дела, а кто на всякий случай. Начальство заглянуло, осталось довольно — центр культурной деятельности исправно функционировал. После урока позвали на совещание: ревизор приехал. Местная команда крутилась вокруг него, подпевала-поддакивала, рапортовала о достижениях, ярко рисовала трудности, чайку подливала, тортик пихала в рот. Потом всей сионистской кодлой пошли в кооперативную кафеюшку на Ордынке, знатно пожрали. Шмулик, уже матерая административная крыса, знал, для чего начальство приезжает и как его ублажить. Да и ревизор — мелкота. Кафеюшка была уютенькая, еврейцы расшумелись, как дома, пара уголовничков за угловым столиком поглядывала, но в рамках толерантности. Я конца спайки не дождался,

смылся под предлогом важных дел. Вышел на Кольцо и потопал к Москве-реке, заглядывая по дороге во все книжные. В новом Доме Художника хотел альбомы подкупить, но он был закрыт, вышел к реке, сел на ступеньки. Пустынно. Далеко видать. Справа Кремль красуется над рекой. Река широкая, медленная. Успокоила. Вдруг узнал воздух, летние запахи. Жадно набил легкие. Щелкнул фотиком. Домой еле добрался, весь взмокший. Принял ванну. Инна позвонила. Разговор ни о чем.

23.7. Встретился с Иосифом. Совершили набег на книжные. Отправили пять посылок. Вернулся. Заехал дядя Миша на «Москвиче». Поехали к нему на дачу. Тетя Ира расчувствовалась. Дочка Катя уже с двумя котятами и мужем Васей. Вспоминали, фотографировались, шашлык жарили. К вечеру выпили-закусили. Разболтались под водочку. Дядя Миша смело говорил про евреев, над Васей смеялся, что, мол, обевреился, хотя сам-то во всей своей семье — единственный жид. Вася улыбался-щурился, ушки на макушке. Опять я обожрался и всю ночь не спал, шашлык торчал поперек горла. Дождь лил всю ночь, бил по стеклам. Пустая веранда. Холодно. На рассвете побежал по мокрой траве в деревянную будку на краю участка, просратья. Полегчало. Утром дядя Миша отвез домой, договорились встретиться, когда жена приедет. Днем поехали с Иосифом к Калашникову. Отобрал кое-какие книги. Чай попили, за поэзию попиздели. Калашников в журнале работает и в издательстве, признался, что давно уже не пишет. Иосиф напирал на неестественность позиции русскоязычного писателя вне России. Посплетничали об «эмигрантах», всем досталось, даже внутренним. В шесть — урок у Саши. После урока прикорнул часок на диване. Саша отвез в Шереметьево: его сестра Ася с дочкой и моя жена, старые подружки, прилетали вместе. К четырем утра дорвались, наконец, друг до друга на визгливой постели на Черкизовской.

Утром попили кофе, устроили постирушку, запахло домом. Зашли к Мише. Отсыпал ему денег (накануне поменял у Саши зеленые), Миша смутился подношением, сказал, что привык сам на себя зарабатывать, но я объяснил ему, что это за хлопоты с памятником. Поговорить толком не успели, спешили старушку одну встретить, с целью распропагандировать старую авантюристку: Белла наказала «напугать» старушку (тетку ее), чтоб не вздумала в Израиль переть, о то ей на голову свалится. Старушка, услышав об ужасах абсорбции, заколебалась, но боюсь ненадолго — крепкий орешек. Отправились в ОВИР на Чернышевского, отмечаться, отстояли очередь и выяснили, что ОВИР штамп о прописке не ставит, пригласившая организация должна. Саша с Асей уехали, а мы прогулялись по улице Архипова, у синагоги никого не было, зашли в «Россию» отобедать, да не вовремя — у официантов перерыв на обед. Я поймал одного за фалды, шепнул заговорщицки: «Организуй. В накладе не будешь». Дылда оглядел нас и посадил за столик. Я старался ничем не выделяться, но жена выдавала. И это настроение кутнуть, показать им, все эти мечты о возвращении на белом коне, благо деньги — сор, три тысячи за сто долларов, хоть жопой ешь. И я отдался стихии. Совершенно противу правил. Черная икра, холодная лососина, шампанское. Содрали 225 рублей. Приличная месячная зарплата! А сколько книг можно было закупить! И я разозлился. За ее тягу к купеческому шику. А разозлившись, пожадничал и дал дылде только четвертак на чай. Он, видать, рассчитывал на большее и сразу погрубел. На улице — ливень. Официанты стояли кучкой и курили под навесом, все — гвардейцы, как на подбор. Поглядывали с наглым недоброжелательством, наш им что-то рассказывал, и они посмеивались. Четвертак им видишь не деньги, совсем охамели. Обошли «Россию» и

мимо Василия Блаженного — к Гуму. Раздражали ее восторги, охи-ахи перед березками, церквушками, дешевизной. Когда к Лобному подходили снизу, а оно упиралось в хмурое, как грязная простыня, злое небо, упиралось рогом, а вокруг Византия, легендарная, гнусная, какой-то великой жутью в душу пахнуло... Потолкались в Гуме, в «Эстер Лауда» не попали, по пропускам, но в «Лореаль» жена ввинтилась, сунула кому-то в лапку, накупила кремов («ты знаешь, сколько это у нас стоит?!»), потом поперли домой. Вечером к подружке Ларисе, слетелись все сослуживицы. Бабий визг, слезы, бредятина. Я мрачно смотрел телевизор, пугал гражданской войной и жевал «ножки Буша».

26.7. С утра звонки, билеты, прописка (так и не получила, паспорт в ОВИРе изъяли), раздача писем, передач, сборы. Ходила в нашу бывшую квартиру, у меня и мысли такой не было, говорит, что соседа встретила, и он ее узнал. Сегодня едем в Ленинград.

Поезд плелся пять часов. Напряженка: жена без паспорта. Паранойя нарастает. Учю ее не выделяться, платья хитрые не надевать, ивритские словечки типа «беседер» и «ма питом»¹ из лексикона выбросить. Вагон сидячий. Напротив мать с дочкой лет 10, чистый ангел. Жена стояла с девочкой у окна и беседовала, как с подругой.

27.7. Встретил Эдик. Красивый парень, немного полноватый. Таксисты — ломачи, повезли только за четвертак. Приехали уже ночью. Кузина Поля омужланилась. Стала похожа на своего отца. Квартира запущенная. Комары, как птицы Хичкока, несметны и неумолимы. Перед сном пылесосили, целые слои с потолка снимали. Диван узкий, война с комарами. Так и не заснул. Все еще держусь на каком-то ужасном возбуждении, но уже на пределе.

¹ Израильские идиоматические выражения: «нормально» и «что это вдруг».

Утром поехали в Петергоф. Запустение, обветшалость. В коляске, запряженной парой, редких туристов катают по площади перед дворцом, обильно покрывая ее лошадиным дерьмом, в парке духовой оркестр дефилирует в театральных костюмах екатерининской эпохи, туристки повизгивают у фонтана фотографируясь в объятиях дюжего вельможи неопределенного исторического периода. «Хаим! Хаим!» — кричит одна, — «Бо наасе цилум, рак шекель!»¹ Жена потребовала, чтоб катание организовал, а у возниц как раз перерыв. Подошел к ним, два парня и девка, тоже в маскарадных костюмах, пили водку и ржали. «Как на счет?...» — говорю, и хитро на лошадей киваю. «Перерыв!» — грубо резанул парень, и лезть со своими несметными деньгами расхотелось. Лошади, задрав хвосты, вновь дружно облегчились на царские мостовые. Возницы взорвались новым залпом хохота. Ужасно вдруг захотелось пить. На счастье какая-то девка выкатила лоток с пакетиками сока, яблочного, по рублю. Народ было слетелся, и также быстро рассеялся, цена кусалась. Я взял сразу пяток, отошел с женой в сторону, присели на камень и стали жадно пить. Стайка мальчишек лет 10–12 беспризорного вида пристала: «Дяденька, дай попить!» Я удивился. «Да я и сам хочу пить!» Жена: «Какой ужас, попрошайки!» «Мы интернатские», — сказал один пацан, как бы оправдываясь. Дал им пятерик: «Идите, купите себе». Бросились опрометью. Охватило мерзкое чувство стыда за свою жалкую щедрость...

Потом гуляли по Невскому. В «Доме книги» пусто, зато вокруг бойко торгуют Анжеликами и Агатой Кристи в ярких обложках. Вышли на Дворцовую. Тут тоже катали на лошадях и лошади непрерывно срали. Жена уже не просилась покататься. Шустрые ребяташки

¹ «Хаим, давай сфотографируемся, всего шекель!» (ивр.)

вдруг закрутились вокруг нас, предлагая на непонятном языке то ли купить что-то, то ли что-то продать, шуганул их на русском языке и они, изумившись, отстали. Жена, жена выдавала своими турецкими шароварами. Пошли к Неве. Уличные музыканты повсюду упражнялись на флейтах, скрипках, гитарах, гармошках, в одиночку и ансамблями. На Мойке, возле лодочной станции новая блажь: хочу на катере покататься. Тут же, откуда ни возьмись, шкаф в кепочке, эх, прокачу, 200 рублей. Я говорю: ты чо.

И не то что жалко, а выдавать себя нельзя. Но жена умоляюще смотрела, вода плескалась у бортов, дорога реки манила в лабиринты между дворцами, и я дал слабину. Сторговались на 150. Катерок тронулся, ветер толкнул в лицо. Жена села рядом с морячком, а я сзади. Лицо морячка было не улыбочивым, плечи внушительными. Сначала он пытался любезничать, рассказывал мимо чего проплываем, куда путь держим, когда по Фонтанке плыли, искал знакомый дом с башенкой, берега фотографировал, на одном из поворотов гондольер предложил сделать дополнительный крюк еще за 50 рублей. Когда я отказался, не люблю эти арабские штучки, он тут же удвоил скорость и мрачно заткнулся. Ветер сделался сильным, и я спрятался за его широкую спину. Сделав кружок по Неве — полно было военных кораблей, к какому-то параду готовились — вернулись на Фонтанку. Я заметил, что проезжая мимо каменных лестниц, спускающихся к реке, к лодочным станциям, гондольер наш, не поворачивая головы, косился на подозрительных людей у лодок, иногда обмениваясь с ними взглядами, вопрошающими, выжидающими чего-то. Я напрягся: вот как пристанет к берегу, мол, мотор забарахлил, огольцы в лодку прыгнут, и хорошо, если на дно не отправят. Думаю: если сейчас попросит пристать, покурить там (уже спрашивал, нет ли у нас заку-

рить, хорошо, жена все выкурила, а то б сейчас «Мальборо» достала...), или пописать, скажу грубо: дуй дальше. Лучше с ним тут, один на один, и позиция у меня лучше, чем на берегу с огольцами. Пронесло, однако. Опять паранойя? Вернулись домой счастливые, жена — Северной Венецией, а я — тем, что обошлось без эксцессов. Вечером — семейный слет. Саша-племяша с женой и тещей, Генка с сыном, Софуля с мужем, который всю дорогу оправдывался, почему в Израиль не едет. С Софулей мы как-то летом в Севастополе в теплой кампании, юные и полуголые, колбаски на огне жарили да вино пили жаркой южной ночью... Пошумели. Жена, захлебываясь от патриотизма, рассказывала о сыне в армии, пугала столичных обывателей военными буднями имперских окраин. Положили нас в другой комнате: комаров поменьше, диван пошире, и я хоть чуток поспал.

28.7. Утром — в Ориенбаум. Тихое запустение. Потом обед у Генки. Жена еще с Полей побежала в театр, а меня — на волю. Опять гулял вдоль Фонтанки, аж до Варшавского вокзала, пока не стемнело.

29.7. Музей Пушкина. Мебель и стишки на стенах. Но огромная библиотека в кабинете неожиданно сблизилась: свой брат, библиофил, видно, что гонялся за книгами. Вечером опять застолье. Поля рассказывала, как муж исчез, только через три месяца труп в лесу нашли, опознать было не просто, и сколько они за все это время пережили.

30.7. Носились с Полей по городу: встречи, бизнес, туризм, неврастения, магазины (книги, марки, фарфор, картины). Затягивала меня в туристский бизнес, я упирался. Зашли в «Русский музей», у входа я оренбургский платок маме купил. И еще — на выставку икон и средневековых рукописей. Все бегом, перепуталось... Вечером отчалили.

1.8. Жена встретила с дядей: деньги, лекарства. Непоколебимый ленинец кипел от перестройки. Он теперь первый секретарь Догопрудненского горкома.

2.8. ОВИР отдал, наконец, паспорт с пропиской. Ездили на кладбище. Вечером — в Вильнюс. С двумя бабами в купе. Одна — молодая спортсменка с поломанной спиной, «челнок», русская, муж литовец. При посадке престранный случай: какой-то молодой человек приятной наружности и обходительных манер неожиданно вырос перед нами и спросил, нет ли у нас случайно лишнего билетика. Я удивился, тем более, что случайно был, Ася должна была поехать, но передумала, а билет я собрался выбросить, подумаешь 4 доллара. Я говорю: вы знаете, это совершенно невероятно, но есть лишний билетик. И даю ему. Он стал рыться в карманах, я его остановил, мол, ладно-ладно, мы ж еще в купе увидимся. Но в купе мы не увиделись, он исчез, а появился на полдороге, сказал, что он со знакомыми, а мне хочет просто деньги отдать. Деньги я взял, чтобы не показаться подозрительным, а сам вдруг подумал: что-то в этом молодом человеке не то, что-то не вполне естественное... Уж не пасут ли нас? В Вильнюсе траур, на днях убили шестерых пограничников. Город тих, пустынен. Какой-то непривычно аккуратный, уютный. Жена — с подругами, я — при ней. Разговоры о житейском: кто развелся, кто умер, кто разбогател. Приятель Феликса, которому все привет передавали, пригласил в «Стиклё», ресторанчик для иностранцев и нуворишей в старом городе. Амбал у входа. Пароль «Миша», распахивал двери. Сам Миша пришел позже, обвинил нас, что скромно заказываем, удвоил ставки, рекомендовал разные сорта коньяка, здоровенные литовцы-официанты (видно и тут гвардия в официанты пошла) стояли вокруг плотной стеной и ловили каждый знак. Мише лет 35, худ, простодушно

нагл. «У меня торговый дом». Объяснял, кто должен править в этой стране, и что литовцы — долбаёбы. Я поеживался, не трахнул бы кто из этих долбоёбов медным подносом по наглой еврейской башке, но долбоёбы были невозмутимы, смотрелись вышколено.

4.8. Ездили на кладбище, на могилу ее дяди и бабушки. Дядя погиб 18-ти лет, в начале пятидесятых, выкорчевывая лесников. Дед был сионистом, расстрелян в Крыму в 41-ом при отступлении армии, неизвестно за что, могила неизвестна. А бабка здесь. Кладбище шикарное, не сравнить с Востряково. И заборов нет, а все аккуратно, прибрано, просторно, могилы друг на друга не наезжают, сосны в солнечной паутине... Обратно ехали в ржавом разболтанном вагоне с двумя мужиками неопределенных занятий. Старший был толст и болтлив. Чувал врага, но распознать не мог, все любопытствовал, ловушки ставил: сколько в последний раз в Москве к зарплате прибавили? Не знаю, говорю, я с зарплаты не живу. Когда на Белорусский вокзал вышли — будто попали в эпицентр вавилонского столпотворения.

6.8. Как и вчера, болтались по городу. Вечером поехал на урок, жена гуляла с Асей по городу, на Арбате ее обхаживали по национальности: хотела матрешку посмотреть, а ей: не троньте, не поганьте. Была в шоке. В магазине решила купить яблоки, чего-то не так сказала, ей: вы откуда, дамочка? Она испугалась и говорит: «Я из Литвы...», и бочком, бочком — на выход. Ночью к тете Жене позвали — бабка при смерти.

7.8. Утром — ходоки: как в Израиль пробраться. Потом урок на Полянке. Начальство приехало, сначала Гильад, потом сам Диниц¹. Сопровождения-застолья. Как среди евреев работу вести. Жена с Вадиком — по Крем-

¹ Глава Сохнута (Еврейское Агентство).

лю. Сегодня она улетает. Встретились вместе у «Метрополя», пошел сильный дождь, заскочили внутрь, решили пивка выпить в буфете, а там пиво — 5 долларов банка, во дают. Но пить уж больно хотелось, и как Вадик не уговаривал «уйти отсюда», вдарили по банке, попрощались. Муж кузины отвез в аэропорт. Заклепал мозги «достижениями», сколько собирают с дачного участка «кверху попом», как он со всеми умеет ладить, особенно с милицией. Самолет на три часа задержали. Наконец, жена улетела. Полегчало: теперь если накроют, то хоть не всех сразу. А к ночи позвонила тетя Женья: бабка умерла.

8.8. В одиннадцать проснулся и подключил телефон. Пошли звонки. Ученики хотят заниматься. Инна хочет встретиться. Оля достала билеты на византийский конгресс, на открытие, Аверинцев будет выступать. Сказал, что, к сожалению, не смогу. Завтра утром совещание с Диницем. К часу жена позвонила, добралась благополучно. Поговорил с сыновьями, с мамой. Опять Инна позвонила. Очень хочет увидеться. Но времени мало. «Приезжай», — говорю. Замолчала. Все-таки вытянула из дома. Встретились на Пушкинской. Цветочки преподнес. Гвоздики. Поташила на Кутузовский: «там есть тихие скверики». Посидели в тихом скверике с тихими алкашами. Рассказывала, как замечательно съездила в Старицу, две книжечки подарила с красивыми фотографиями и осколок камня, от какого-то монастыря. А я с тоски что-то разоткровенничался, стал о своих романах повествовать. Она от моих откровений скуксилась. У метро купил яблок у молодки-хохлушки, зеленые, но сладкие, и поехал на урок около ВДНХ. У метро вдруг встречаю Леву Гордона. Учитель священного языка почти не изменился. Только выучил еще арамейский, это кроме арабского, английского и немецкого, которые давно в копилке. Все так же одет во

что попало и весь в делах. Чуток одутловат. Приглашал в гости. Приехал к нему в девять вечера. Два карапуза, красивая жена с коровьими глазами, Катей зовут. Умна, деловита, возбуждена политикой. О политике и проболтали до часу. Наметилось совпадение геополитических возрений. Предложил ему сотрудничать с нашей партией. Он со всеми перессорился, загнан в угол и явно ищет поддержки. Хочет организовать сионистскую партию в России. Пригласил меня выступить на конгрессе учителей иврита и активистов сионистского движения, который он на днях открывает. Пытается конкурировать с Ваадам¹. Но ни Бюро², ни Сохнут с ним не играют. Теперь за «игры» с Сохнутом или Бюро конкуренция жесткая. Каждый норовит объявить себя местным сионистским лидером. Левушка — из старейшин. Но еще когда я уезжал, был упорный слух, что «стучит». Не верилось. А теперь и не важно. (Когда Неэман³ с Модай⁴ ездили к Горбачеву, визит им, через Яковлева, организовал Земцов. Неэману стали капать, что, мол, гебешник. И прекрасно, сказал Юваль, значит должны быть связи.)

9.8. В семь утра разбудили: Диниц встречу перенес, мол, спи дальше. Отвез книги на почту, еще пять посылок. Зашел к тете Жене. В воскресенье похороны. Понаехала родня из Смоленска, Уфы, все женаты на русских. Семейный обед. Распрашивали об Израиле. Народ от рассказов о далекой исторической родине возбудился, обнаружил тягу, «вот если бы...», интересовался бизне-

¹ Ваад — комитет (*ивр.*), еврейская организация, признанная Израилем как представитель советских евреев.

² «Бюро по связям с евреями СССР» — организация под крышей Мосада.

³ Юваль Неэман, профессор физики и лидер партии Тхия, в то время — министр энергетики.

⁴ в то время министр финансов от Ликуда.

сом. Русские жены молчали каменно. У них там в Смоленске за еврея, небось, как за графа пойти. Провинциальные крепкие середнячки. С головой в перестройке. Зашел к Мише. Пришел Ваня Ахметьев. Миша стал читать какую-то поэму, «важную», потом поставил пленку Левина — «лучший бард». Миша с Ваней в кровь заспорили. А мне что-то не по себе. Устал от споров. Вообще устал. Вышел с Ваней. Он говорит: Миша психует оттого что его не печатают. А Ваню «в Париже знают», и в Мюнхене какой-то сборник выходит концептуалистов, он там тоже представлен.

10.8. Утром звонила жена. Встретился с Иосифом. Долго бродили, покупали и отправляли книги, трудились, как пчелки. Потом к нему на обед поехали. Говорили о структурах и архетипах, о его модели катарсиса. Я настолько устал, что ему удалось каким-то образом выиграть у меня в шахматы, что привело его в совершенно праздничное состояние духа. Поехал на встречу с Озриком. Озрик мои стихи похвалил.

11.8. Рано утром — па-адъём: Диниц зовет в «Савой». От раута с Диницем не откажешься, придется похороны пропустить. Позвонил тете Жене, извинялся, объяснял, но все равно обидятся. У подъезда в «Савой» толкались «мерседесы», распорядитель, не ниже майора, с нашим сотрудником, пропускали внутрь. В зале журчал фонтанчик, старлеи, а то и капитаны, бесшумно сновали, наливали, накладывали, интересовались на ломанном английском чего изволим, слышав в ответ русскую речь, не удивлялись. У фонтанчика стоял седоватый, не ниже подполковника, и дирижировал. Судя по шобле вокруг Диница, всех этих помощников и советников, извивающихся в лизоблюдстве, личность он мелковатая. По очереди рапортовали о достижениях, предлагали «улучшения в работе», я стал судорожно думать, о чем же мне отрапортовать, но стол был длин-

ный, а я сидел в конце, после первых рюмок все закричали наперебой, желая обратить на себя внимание, так что до меня, слава Богу, очередь и не дошла. Лизоблюды дружно ругали Бюро (межведомственные распри), как оно им палки в колеса вставляет, перебегает дорогу, и МИД еще под ногами путается, мы бы, дали б нам волю, всю работу в России как надо поставили, у нас опыт, у нас такие замечательные кадры, подобранные лично... Диниц благожелательно кивал, затем решительным тоном провел инструктаж. Я поймал лейтенантика за фалды, чего, говорю, шепотом, водку-то унес? Он рот покривил и принес. Уж не помню, когда я ее родимую с семгой, да с красной икорочкой, в таких количествах... Вот что значит на халяву. А еще в киоске «Савоя» купил пленку чувствительную на 400 единиц, для музеев, нигде здесь такой не видел, а ту, что с собой взял, кончилась. Вышел на пустую в воскресное утро площадь Дзержинского. Железный Феликс напомнил вдруг кипарис на нашем пригорке... Поехал к тете Жене. Все уже вернулись с кремации. Поминали бабу. Удивлялись, как это меня Господь сподобил увидеть ее перед смертью. Уже совсем пьяный зашел по дороге домой к Мише. Ударились в воспоминания.

12.8. Утром устроил себе постирушку, потом — по книжным. На Чистых Прудах встретился с Макаровым-Кротовым, Миша сосватал, интервью у меня хочет взять для какой-то новой газеты. Похож на молодого Бунина, только мягче. Сначала в сквере посидели, потом, от дождя спасаясь, заскочили в кафе рядом, выпили коньячку, разговорились. А тут обеденный, и нас безжалостно вытурили под дождь. Постояли под навесом, дождь прошел, и мы продолжили на скамейке в сквере. Иногда он что-то записывал в блокнот, но в основном полагался на память. Как я нашел Москву? — с ожиданием лицемерных жалоб на плохие до-

роги и обветшалость. Да Москва, как Москва, говорю. И не важно мне какие тут дороги, и что дома не вылизаны, как в Германии, а вот слушать, как они сами себя грязью поливают, неприятно. Подарил ему свою книжку, и он обещал дать вместе с интервью подборку. На публикацию я не рассчитывал, но Макаров-Кротков мне понравился, а с хорошим человеком познакомиться — уже удача. Обещал свести меня с Сапгиром, Айги и Кривулиным. Поехал на урок, потом к Саше, деньги менять. Ася меня хочет, но деликатно, а я не провоцирую.

13.8 Утром урок на Полянке, потом встреча с Марой у Третьяковки. Мару мне Инна подсунула, мол, подружка-родственница, психиатр, интересуется возможностью устройства в Израиле, хороша собой. Я ждал ее у входа в Третьяковку, решил еще раз пойти на выставку русских икон, приуроченную к конгрессу византологов (уже был один раз с женой, выставка колоссальная, и как раз чувствительная пленка кончилась, а со вспышкой снимать не дали, ужасно обидно было). На этот раз я был вооружен пленкой в 1000 единиц, откопал в лотке возле «Славянского базара». Она чуть опаздала, неестественно смеялась. Я сказал ей, что психов в Израиле предостаточно, к тому ж она женщина сексапильная, так что на счет устройства можно не беспокоится. А вообще-то мне уже пора было на кого-нибудь взгромоздиться. После Третьяковки поволок ее в Дом художника на «Русский модерн». Голова от всего закружилась, это вращение я пытался передать ей, и в конце просмотра предложил поехать ко мне. Заколебалась, но не решилась. Хозяин — барин. Приехал домой усталый и голодный. По дороге купил яички, хлеб, редиску, зеленый лук, заправил все итальянским соусом и закатил себе пир с «Гуджуани», зря что ли пять бутылок из Ленинграда тащил!

14.8. Утром отправлял книги, потом поехал на съезд учителей иврита. Сняли целый павильон на ВДНХа, большой зал человек на тысячу (четверть зала заполнено), в фое сионистская литература, выставка художника (картины о Катастрофе). Прочитал лекцию «Русскоязычная литература в Израиле». Прошло с бурным успехом. Пришлось заочно поспорить с Агурским¹, который выступал здесь днем раньше и печалился, что черезчур много народу приезжает, мол, Савок израильскую культуру съест. Катя предложила сделать интервью для «Недели». Потом я должен был встретить Машу (еще одна Инкина протеже) и пойти с ней на урок. Из метро не высунешься — ливень. Маши не дождался и короткими перебежками, прячась в подъездах, побежал на урок. В один из подъездов за мной вбежала стройная девушка на высоченных каблуках и в черном, глянцевом дождевике. Смотрим друг на друга, отряхиваемся.

— Вас не Наум зовут?

— А вы — Маша?

На уроке я ходил павлином, да и другие ученики (врач-венеролог, инженер, директор совместного предприятия) возбудились, что-то было в ней уязвляющее. Я уж собрался штурмовые лестницы к стенам крепости ставить, но крепость должна была ехать за сыном на дачу, и я милостиво отложил штурм.

15.8. Встречал поезд из Липецка, передать письмо и деньги. Павелецкий неплохо отреставрировали. В огромной очереди за газетами разговорчики, антикоммунистические выпады. «Независимая» — самая популярная. Придурка из Липецка не встретил, то ли не приехал, то ли место встречи попутал. В 10.30 урок. По-

¹ Михаил Агурский, известный советский диссидент, публицист и писатель, один из авторов сборника «Из-под глыб».

сле урока встретился на Новослободской с Макаровым-Кротовым и пошли к Сапгиру. Жовиальный мужик во всем джинсовом, худая жена, русская, натертый паркет, породистая старая гончая. Встретил по-светски сдержанно, соблюдая субординацию, но быстро расслабился. Подарил книжки, я ему — свою, передал приветы друзьям, разговор о журналах, новых книжках, знакомых. Подали олады со смородиновым вареньем, коньяк. Стали стихи читать. Начали с меня. Очень хвалил. Обещал пристроить, у Глейзера. Потом сам читал. Много. Спросил о некоторых словах на иврите, которые он хочет в стихотворение вставить, я объяснил значение и как у нас произносят. Стихи его не понравились, что-то механическое, но восторгов из вежливости не жалел, и благодаря замечательным оладьям и коньяку, они были почти искренни. Потом Саша читал. Запомнилось: «Жизнь длится в течение поцелуя. Остальное — мемуары». За стихами с коньяком время летит незаметно и к Калашникову я опаздал. Народ уже подогрелся и почти опустошил стол. Иосиф, зарумянившись и приладив головку к лодожке, с ангельской улыбкой взирал на застолье. Царил на пиршестве Сережа Костырко, огромный и шумливый, тут же спросил, не знаю ли я случайно в Израиле Прайсмана. Лёню что ль? Ну да, Лёню. Орудийный хохот, прибаутки. Гена аккуратно подливал. Перемывали кости жидам, хохлам и цацапам. Много о политике, как и у нас. Костырко был неудержим и гремел, как ведро с гвоздями. Гене мои стихи понравились. Я подарил книжку Сереже и сказал, что зайду к нему в «Новый мир».

16.8. Утром встретился с Олей на Спортивной. Тонкие губы, уголками книзу, голос анемичный, до костей забирает, с такой монашкой туманной... Долго бродили пока нашли музей Корина. Жаловалась на топографический кретинизм. Неопределенно намекнула,

что Нарциссов чужаков не любит, хоть и сам из евреев. Музей Корина — вроде побеленной сторожки посреди большого двора, жестяная крыша, тяжелая дверь, мемориальная доска с барельефом. Стучали долго. Впустила пожилая женщина. Потоптались в сумеречной прихожей. Вышел «сам», Вадим Валентиныч, точнее, вбежал, лет за 50, маленького роста корявый крепышок с седеющей курчавой бородой, но лысый, очень подвижный. Неутомимый ёрник. Взгляд острый, бегающий. Кольнет и убежит, кольнет и убежит. Сказано было про него, что «замечательный» (с ласковой иронией), и что «из команды Меня». Валентиныч шаркнул ножкой, поцеловал Оле руку, мне кивнул без восторга. Проводил в мастерскую: «Побудьте пока тут». Оля держалась с лукавой почтительностью, почти заговорицей: за ласковой иронией пряталась какая-то тайная власть. Спустились в огромную залу мастерской. Свет шел из больших наклонных окон под потолком. В дальней, темной стороне залы висел чистый холст на всю стену. Остальные стены были увешаны растворяющимися в сумерках картинами, эскизами, копиями. По углам толпились учебные скульптуры, рядами стояли повернутые к стене холсты. В центре, полукругом, картины на подставках, портреты священнослужителей, а ближе к окнам, к свету, лежала, как на операционном столе, больших размеров икона, и бесцветная молодая девушка, с таким всегда дразнящим меня почтительным смирением на лице, усердно протирала ваткой уголок, время от времени обмакивая ватку в какую-то жидкость. Валентиныч порхал вокруг нее и приговаривал: «Так, так, замечательно, молодец, Верочка!» И, уже имея в виду икону, а может Богоматерь на иконе? а может Верочку?: «Хороша! Ах, хороша!» Я покрутился, спросил, можно ли фотографировать. Получил сухое «нет». В мастерской было холодно, как в

погребу. Пришли еще четверо, их ждали. Рыжебородый немец, изъясняющийся по-русски, византолог, с конгресса, надо полагать, с ним женщина средних лет и благородной блеклости, паренек с ФЭДом и приятель хозяина, профессор. Они тут же склонились над иконой (Верочка почтительно отступила) и стали обсуждать ее качество и происхождение: школу, датировку и т.д. Профессор был при галстук, двигался не суетливо, говорил мягко. Всегда испытываю завистливое восхищение этим типом людей, которых Господь сподобил безбедно жить, занимаясь любимым делом, что, видно, и придает их манерам столь естественную мягкость и доброжелательность... Валентиныч усадил нас на скамейку у стены и приступил к обязанностям экскурсовода. Голый холст во всю стену — это так и не начатая картина «Русь уходящая». Сохранился небольшого размера эскиз картины и этюды — портреты епископов, митрополитов и патриарха: персонажей картины. Сказал, что все это сейчас выставили, так как недавно американцы снимали фильм о Корине. Корин был учеником Нестерова, из палехских, задумал эту картину еще в 25 лет, во время похорон последнего патриарха, но пришлось стать обычным советским художником, отводя душу в коллекционировании икон, спасая многое от разграбления и разрушения. Нам были показаны еще пейзажи, картина «Ярое око», а затем мы прошли во внутренние покои дома-музея, где хранилась коллекция икон. Несмотря на то, что рассказывал он интересно, с вдохновением, для «своих», профессиональные штампы экскурсовода, породы мне ненавистной, вроде евнухов, все же прорывались в его речи, раздражая меня, чем-то он вообще меня раздражал, и чувствовалось, что это взаимно. Мне, конечно, повезло, как хозяин, а потом и Оля, подчеркнули, — обычных экскурсантов во внутренние покои не водят, в одной из комнат жила

еще вдова Корина, глубокая старуха (по какой-то причине отсутствовала). Трое спецов снимали со стен иконы, вертели их на слабом оконном свете, спорили, что-то неожиданное для себя открывали, оценивали, воодушевлялись. Эти непосредственные профессиональные разговоры дарили бездну познаний о характерных особенностях иконописных школ: псковской, ярославской, московской, вологодской, тверской, о технике письма, о сюжетах и их религиозной символике. Воистину просветили. Зашли даже в святая святых — спальню вдовы. Там висели этюды и эскизы периода жизни и ученичества в Италии, одна замечательная вещь — панорамный вид Флоренции, итальянцы якобы огромные деньжищи за нее предлагали, кропотливая работа. В спальне естественно пошли интимные разговоры, сплетенки, как, уже будучи в возрасте, Корин выбирал-высматривал жену среди палехских работниц, на родине, несколько лет ездил, присматривался, наконец выбрал, взял в ученицы, замечательно краски терла, терпелива была, бывало целыми днями сидит, трет, «так и втерлась», не удержался я, но наглая шутка Валентинычу понравилась, и он слегка потеплел ко мне, даже объяснил, где у них туалет в святая святых. Я тут же распоясался и попросил разрешения сфотографировать Олю, просто у вешалки, но нарвался на новый отказ и явное неудовольствие, не столько, видно, самой просьбой, сколько настырностью, свидетельствующей о недостаточном подобострастии. А я нарочно, да, подразнить. Он хвастался перед гостями шикарным альбомом икон и рукописей из монастыря св. Екатерины в Синае, среди них чуть ли не первой иконой Спаса, я конечно не преминул отметить, что как же-с, бывали в сих местах по разным воинским надобностям, заявление было холодно пропущено мимо ушей, и я решил, что он, видать, антисемит на почве

православия. Тем не менее, мы мило расстались, и я даже сделал групповой снимок у дверей музея. Потом мы с Олей пошли в Новодевичий, там была выставка византийских рукописей из афонских монастырей. По дороге заглянули в магазин, где продавали книги духовного содержания и предметы культа. Толпились священники, семинаристы, скромные девицы в платочках, старушки. Во второй половине магазина был ширпотреб и даже лавка с западными товарами, где я купил баварское пиво. Оля долго листала книги, а я ждал ее у входа. А когда она вышла, то и солнце как раз выглянуло из-за туч и залило её светом, будто любясь всем её обликом, будто удивляясь, как и я, его странной, непривычной отрешенностью и покоем. Еще по дороге к Новодевичьему спросил ее, как это она дошла до жизни такой, религией заинтересовалась. Она сказала, что родители ее из старообрядцев, девочкой водили в церковь, так что для нее этот «интерес» — не возвращение к религии, она от нее особенно далеко и не удалялась. А потом, когда всё в тартарары летит, то больше и зацепиться-то не за что. Во-во, встрепенулся я, именно этот аспект приобщения к религии меня больше всего раздражает, у нас тоже полно всяких «возвращающихся», всё опоры ищут, как пособия по инвалидности... А что плохого, говорит, что опоры ищут? А то, говорю, что нет никаких опор, и противно, когда люди мастерят себе духовные костыли. Все во что-то верят, сказала она уклончиво, и ты, наверное, тоже. Я верю в неизбежность поражения, процитировал с бравой улыбкой. Ишь ты, какой герой, сказала она, чем-то задетая. Когда о религиозности говорили, привела еще один аргумент: «Надо же как-то культурно определиться».

Погуляли по Новодевичьему, полюбовались на рукописи, я фотографировал, и вдруг наткнулся на Нар-

циссова, который с двумя благолепными девицами средних лет танцевал у каждой миниатюры, охал да причмокивал, как бесенок, а девы почтенно переплывали за ним от экспоната к экспонату. Завидев меня (я при этом радостно улыбнулся), подмигнул спутникам и воскликнул: «А заяц тут как тут!» Девы смущенно потупились, выходка была нагловатая, и я разозлился, захотелось в лоб эдак спросить, что ж это ты, болезный, как крест надел, так и от евреев стал нос воротить, шибко русским быть хочешь? Ох, как подмывало спросить. Так разозлился, что не заметил, как его и след простыл.

Все эти музеи с прогулками возбудили меня донельзя, взгляд невольно прилипал к Олиной аккуратной попке, обтянутой брюками... Однако пора было на урок, а она сказала, что пойдет в собор помолиться, на том и расстались.

17.8. Едем в Рязань. Автобус полнехонек. В основном женский люд. У женщин, особенно с возрастом, тяга к «духовному»: искусство, религия, путешествия. А я, заперев на замок страх (визы в Рязань-то нет!), отдаюсь приключению. Слушаю рассказы Валентиныча о Преображении (праздник нынче), о первых изображениях Спаса, о «московском барокко», рядом Инна (Оля позади, на последнем сидении), автобус качает, хуй торчком, как ракета на старте, вот вот оторвется... Щас бы обеих зараз, и Оленьку, и Инночку. Все три часа до Рязани так и отстоял, как забытый часовой на посту, задревенел, даже болеть стал, и злость забрала: уж так трудно мужику снисхождение оказать, христианскую можно сказать милость, всё, проклятые, в игрушки со мной играют... А за окном Рассея плывет: поля да леса, да реки, да иной городок захудалый, а то храмик какой, без купола, на холме промелькнет... Погуляли по Рязанскому кремлю, Успенский собор и впрямь хорош да ве-

лик, постоял у обрыва, там внизу, за Окой — степь, рубежи, кочевники... Лазил по заповедным углам, фотографировал, наткнулся на Валентиныча (тоже оказался любитель пощелкать, подмигнул мне), и всё Олю глазами искал, а найдя, поедал. Стройная, брюки обтягивают... После Рязани еще подались в Солочу, в тамошний монастырь на высоком берегу, а за ним болотистые Мещерские степи, тут последний Рязанский князёк отсиживался. Перед тем как монастырь осмотреть спустились к реке и устроили привал с закуском. Девочки сплетничали, что Валентиныч пару лет назад овдовел, что к женскому полу зело неравнодушен, в моих глазах слабость простительная, и не дурак выпить. Он вдруг пригласил нас к своему «столу», большой скатерти на траве, и я ему поднес бутылку «Сабры», жест был принят с удовольствием. Пошел свойский разговор об израильских достопримечательностях (народ вокруг напрягся), что давно хочет посетить, я ему рассказал про Фаворскую гору, какое сказочное место. Когда поднялись в монастырь, солнце уже садилось за степью, и края ее расплывались в тумане. Монастырь полуразрушен, кругом строительные леса, щебень, камни. В целых пристройках — дом отдыха, мужички в маечках на скамеечках в домино стучат. Красные палаты, ажурно выделанные, похожи на корабль. Зашел в дверь. Лестница вниз, черный занавес. Над ним табличка: «Видео-салон». Слышны охи-ахи, порно, небось, крутят. Какой-то коротышка неинтеллигентного вида, поддатый, вывалился. Я поспешил ретироваться.

Еще в Рязани, у лотка с квасом, говорю Инне со злой прямотой: ты сегодня одна (мужа на дачу сплывила), так что самое время кутить, так ё плейс или моё плейс? Засмущалась чего-то, замэкала, чем озлила меня до крайности, всю обратную дорогу кипел

желчью, пренебрегая приличиями. Проезжали как раз мимо моего дома, я попросил Валентиныча остановиться, и эта привелегия была мне дана. Напоследок сделал последнюю попытку: «Ну, хочешь зайти?» Отказалась.

18.8. А утром вдруг звонок: мол, если хочешь, приезжай. Может лучше ты ко мне? Нет, я не могу, должны позвонить, кто-то должен подъехать, и вчера она не могла, потому что муж ночью может позвонить, проверить. Не стал препираться, и хоть не люблю в чужое логово нос совать, да делать нечего. Помчался. По дороге все думал, ну что за отчаянная неразумность, ведь у меня безопасно, а тут и соседи могут заприметить-накапать, да, неровен час, еще нагрянет каменный гость, раз уж так проверять любит. Да и вчера не обязательно было на ночь оставаться... Встретила меня в глянцево халатике, я ее тут же — в охапку, однако отстраняется. Чудеса и полное безобразие. Перешли в салон. Обстановочка простенькая: буфет, диван, книжки. В смежной комнате, через открытую дверь — кровать светится, огромная, супружеская... На диван села, да еще ногу за ногу, я по комнате спую, как белка. Какие-то глупые фразы. Какие у меня планы на сегодня? Подсел к ней обниматься. Опять уклоняется. Издевательство какое-то. Я сел на стул у окна. Усмехнулся и покачал головой:

— Ты меня извини, но я тебя совершенно не понимаю. Просто... непонятно.

— Что тебе непонятно?

— Непонятно и всё. Ладно. Неважно.

— Нет, это важно, объясни мне. Чего ты все усмехаешься?

— Похоже... как тогда... Ничего не изменилось, надо же... Смешно даже...

— Что похоже? Объясни. И что тебе непонятно?

— Да чего уж... отношения выяснять. Которых нет.

— Нет, ну что тебе так непонятно?

— Слушай, вот интересно, когда ты уже знала, что я приеду, как ты себе представляла нашу встречу?

— Я... очень ждала. И знала, что всё будет...

— Всё будет, — передразнил. — А когда ты меня увидела, то все эти наваждения фантазии прошли, так? Это бывает. Но зачем тогда... ты что, решила меня пожалеть? Я действительно в некоторой напряженке с этим делом...

— Да уж наслышена...

— Да? Не секрет. Но мне не нужно от тебя жалости. Я слишком ценю наши отношения. Нет, так нет. Достаточно прямо об этом сказать, а не заставлять меня играть какую-то дурацкую роль: преследовать, надоедать, упрашивать...

Я еще нес что-то патетическое, и вдруг, смотрю: губы задрожали, начала плакать.

— Ты чего? — я искренно не понял и испугался.

— Ты не понимаешь..., — сквозь слезы, — что значит для меня твой приезд... Как мне было тяжело тогда... сколько сил я потратила, чтобы забыть... И вдруг письмо от тебя... И то, что ты приедешь... Я так ждала, а ты меня сразу обидел, стал рассказывать про какие-то свои романы, зачем? Что я не понимаю, что ты эти 15 лет не думал только о том, как сохранить мне верность, но мне это больно, зачем? да еще расспрашивал про мои... Я поняла, что для тебя это по-прежнему ничего не значит...

Я качал головой, не веря своим ушам, и победно улыбался. Пересел к ней на диван и обнял.

— Ну, вы даете, доктор.

Она уткнулась в мое плечо, я поцеловал ее в щеку, в висок, положил руку на колено. Халатик распахнулся, и я понял, наконец, что она действительно знала, что

«всё будет». Щеки ее полыхали, она вздрагивала от моих прикосновений, и когда я вошел в нее, резко втянула сквозь зубы воздух, как от внезапной боли и вдруг улыбнулась, открыла глаза, обняла меня. С каждым проникновением ее трясло и било, как током, она закатывала глаза и что-то мычала, потом стала коротко вскрикивать, окно было приоткрыто, и я подумал, не услышит ли кто, а тут дождь пошел...

Мы лежали рядом в неудобных позах, но я чувствовал настоящую, столь редкую для меня расслабленность, успокоенность. Она по-детски игриво улыбалась и жмурилась, и ее счастливая веселость мало помалу беспокоила меня. Страшно смотреть на безоглядно счастливых людей, как на слепых детей, со смехом бегущих к пропасти.

В моей квартире уже две недели нет горячей воды, и я с наслаждением принял душ. Потом мы еще раз порадовались жизни на неудобном диване, потом славно пожрали, даже водяры хлопнули, тут и мой черед пришел впасть в игривость. «Значит, знала, что всё будет?» — хихикаю и головой качаю. «Скажи мне, ты по-прежнему считаешь, что я скована?» Это я ей 15 лет назад ляпнул в сердцах. Ишь как задело. «Не! — смеюсь. — Ты у нас теперь сорви-голова!» «Нет, ну правда?» «Скажи мне, — перевожу на другие рельсы, — ты мне так и не рассказала, у тебя за это время были... романы?» Задумалась. Пожала плечами. «Я не люблю об этом распространяться». «Почему? Это очень сближает. Знаешь этот анекдот? как один застенчивый паренек спрашивает приятеля, как это у тебя так ловко с девушками выходит, ну, говорит, приглашаю я ее сначала в кино, ну и я тоже, говорит застенчивый, потом, когда свет потушат, кладу, как бы нечаянно, руку на колено, ну, говорит, и я так. Ну а потом, говорит, даю ей в рот — это очень сближает». А про себя подумал: «Ну ты, брат,

раздухарился!» «У меня и сейчас есть», — говорит она неожиданно серьезно. «Да?! Интересно». Мы с ним где-то пол-года назад познакомились... Он тоже врач. На семинаре... Сначала даже и не думала об этом...» — «А я так об этом завсегда думаю!» («Ого, — опять подумал, — как тебя водка-то забрала!») ... — «А потом вдруг... Даже не знаю, как получилось...» Она осеклась и ушла в себя. «Женат?» — «Женат». — «Интересно», — говорю. — «Скажи, — встрепенулась, — а тебя это не задевает?» «Задевает? Почему? Наоборот. Я за тебя очень...» Осекся и протрезвел. «Ты за меня очень рад, да?» Настроение у нее сразу испортилось. «Ну а что, — пошел я следы замечать, — я считаю, что это нормально, иметь любовника. Это... раскрепощает, придает уверенности в себе. Да и семейным отношениям зачастую способствует, такая пикантная приправа к семейному сексу. Пикантность греха... Он тебе нравится?» — «Нравится». — «И... часто вы с ним видите?» Она задумалась. «Да всего-то пару раз было... В кино один раз сходили...» «Не густо», — говорю. «Да», — сказала она грустно.

Потом кто-то позвонил. Потом какая-то соседка хотела зайти. И я заторопился. Да и муж, говорит, скоро вернется.

Поехал к Кате, отдал интервью. Немножко над ним поработали. Женщина толковая и темпераментная, в смысле общественного темперамента. Потом к Алику поехал, с официальным визитом. Арбатские переулки, посольства на каждом углу, огромный старинный подъезд, высоченные потолки, паркетный пол, забытая роскошь. Стол уже накрыт, я извинился за опоздание, и мы приступили. Жена — русская, сын — студент. Алик благородно худ, тонкие черты, огромные глаза, эль-грековский тип, говорит не спеша, с большим достоинством. Интересовался, может ли сын, если поедет

один, продолжить учебу в Израиле, и вообще прожить. Я сказал, что вообще-то это тяжелый эксперимент, лучше конечно всем ехать... На счет «всем ехать» имелись трудности: жалко бросать бизнес, который вот-вот налачился. Год назад был в Америке, с сыном, начал работать у приятеля, который там предприятие организовал на основе их общих разработок, мог остаться, но не захотел быть «рабом» у собственного приятеля. Тут жена вмешалась, мол, идиот, что не остался, и они начали привычно ругаться, меня не стесняясь. Алику обстановка в стране не нравится, поэтому хочет сына «вывезти», а то как бы тут чего не произошло. Я немедленно оседлал родного конька, мол, непременно произойдет, и даже очень вскорости, и самое ужасное. Переворот, гражданская война, голод, катастрофа. После обильного стола и доброй выпивки воображение разыгралось. Сын проводил меня до метро. Карате занимается. Я обещал ему написать.

19.8. В семь утра — звонок. Черт, забыл телефон отключить. Инна.

— Привет. Извини, что разбудила.

Ну, думаю, началось.

А оно и впрямь началось.

— Ты знаешь, что происходит?!

— Чего?

— Переворот! Горбачева скинули! Включи радио, они там заявление читают. Всё отключили, классическая музыка! В общем, ладно, я тебе потом перезвоню. Меня тоже разбудили, сказали...

Побежал включать радио. Да, классическая музыка. Потом стали зачитывать заявления, сначала — Лукьянова против Договора, потом — Руководства о болезни Горбачева, о передаче власти Янаеву и ГКЧП, затем обращение ГКЧП к народу с угрожающими намеками, с введением чрезвычайного положения непонят-

но где, в общем, — ужас. Во, думаю, накаркал. Кто чего боится, то с тем и случится. Позвонил Мише, и его разбудил. Встал, позавтракал. Что ж теперь будет? Пара округов не признают и — гражданская. Удастся ли выскочить? Еще придется на нелегальное перейти. Позвонил зубному (Алик сосватал): кусок зуба отлетел. Зубник пригласил на завтра. Я говорю: а события не помешают? Нет, говорит, не помешают. А по радио всё та же музыка, да тройственное сообщение. Я совсем запаниковал. Стал звонить начальству, может, уже эвакуируют? Нет, говорят, асаким карагил¹. Отогнул занавеску — не бузят ли уже на улицах? Вроде тихо. Дворничиха скребет дорожку метлой, соседка кота зовет. В пять у меня урок на Полянке. Впрочем, вряд ли состоится. Нет, невозможно так дальше сидеть, словно смерти ждать. Собрал остатки мужества и вышел. Обыденность ничем не нарушена. Никто не бежит с возбужденными криками, никакой напряженки. Даже в продовольственных — как обычно, ни особых очередей, ни суеты. Странно. Мамаши малышню выгуливают, у метро лимоны выбросили, очередь, но без давки. Милиции не видать. Поехал на Полянку, поближе к своим. Там ремонт. Одна Лена сидит. Бригада мужичков пол натирает, лестницу чинит. Лена в панике. «Хорошо, что вы пришли, а то я тут одна...» Звонки, кто-то растерянный забегает, путанные рассказы, кто-то видел танки. «Вам-то что беспокоиться, — говорит мне Лена, — вы иностранный гражданин. А вот нас...» Мужичок рядом невозмутимо натирает пол, нашел время. Неразборчиво хрипит карманный приемник. Напряженка растет. Примчался кибуцник² Тео. Взахлеб рассказывает на

¹ все в обычном режиме (*ивр.*).

² Кибуц — сельскохозяйственная коммуна, их организовывали первые поселенцы в Израиле, в основном социалисты всех мастей из России.

ломаном русском, как видел по дороге колонну танков и БТРов, идут к центру, некоторые на обочине застряли, чинят, один БТР перевернулся. «Эйзе цава да-фук!»¹ — восклицает бравый Тео. Потом отводит меня в сторону и переходит на иврит: «Слушай, Лена боится одна, ты посиди пока с ней, и вообще, будь на телефоне, мало ли что». «Ладно», — говорю, хотя мне это и не нравится. Не люблю статичных положений типа обложенных крепостей. Остаюсь с Леной. Молчим. У рабочих перерыв. Вышли во двор, расселись под навесом, хлебушек, кифирчик. Становится пасмурно. Радио молчит. Дождик. Рабочие смеются, курят, матюкаются незлобиво. Вбегает немолодая женщина в платке, на лице ужас: у нее вызов просрочен, не могли бы мы ей продлить вызов, какая она дура, что не уехала, вот, пожалуйста, только продлить вызов, и тогда она пойдет... Я ей объясняю, что это не по нашему департаменту, женщина настаивает, начинает плакать. Объясняем вдвоем, как можем, посылаем ее в посольство, тут рядом. Дождик то идет, то перестает. Напряженка нарастает. Сидишь тут, как идиот, неизвестно что вокруг происходит. Небось центр уже перекрыли, патрули, заставы, документы проверяют — точно задержат. Урока, конечно, не будет, ну какой еврей потянется вечером в центр, куда войска стягивают... Решил сбегать в посольство, выяснить, что происходит, может, уже эвакуируют вертолетами, а я тут сижу, забытый в боковом окопе. На улице все как обычно. У «Панасоник» дают зонтики, очередь. Перехожу на Ордынку. Вдоль улицы торговля «еврейскими» товарами: учебники и словари иврита, брошюры по абсорбции, карты Израиля, молитвенники и предметы культа. Подхожу к одному: «Где тут израильское посольство?»

¹ что за армия недоделанная! (ивр.)

«Пока там», — отвечает остряк, махнув рукой вдоль улицы. Подхожу к посольству, у ворот небольшая давка, решительный дядя проверяет списки, милиционер неподалеку прогуливается. Иду себе по-хозяйски. «Вы куда?!» — метнулся ко мне дядя. «Я израильский гражданин», — обрезаю, и дядя сторонится неуверенно. Заглядываю в одну дверь, в другую, без особого плана. В одной из комнат толстая тетка встала вдруг на задние лапы: «Рега, рега! Ми ата?!»¹

— Эйфо кцин битахон?² — говорю начальственным тоном.

— Ло ёдаат. — Опустилась на передние. — Асур лихьёт по³.

Побегал еще немного и чуток успокоился. Взял себя в руки. Кажется, я ошалел от страха. Выхожу из посольства и возвращаюсь к Лене. Все по-старому. Рабочие ушли. Она скоро закрывает, муж должен за ней заехать. Некоторым ученикам позвонила и отменила урок, некоторым не дозвонилась, но думает, что никто не придет. Говорят, на Манежной танки. Прощаюсь и еду на Маяковского, еще вчера договорился с Макаровым зайти в «Юность», он хочет приятелю своему Ткаченко стихи мои сосватать, он там завотделом поэзии. На Маяковской явное возбуждение. Много милиции, милицейские машины перекрыли улицу, толпы у метро, засасываются в щели. В редакции паническая суета. Не до стихов. И не до меня. Саша поймал Ткаченко, но он с мрачным лицом убежал, обещал вернуться, ждем. За соседним столом, заваленным бумагами, анемичная редакторская крыса в огромных очках, рядом симпатичная длинноволосая девушка — «принесла стихи»,

¹ «Минуту, минуту! Вы кто такой?!»

² «Где офицер, ответственный за безопасность?»

³ «Не знаю. Здесь находится запрещено».

тоже ждёт чего-то. Крыса милостиво соглашается «посмотреть», не забыв добавить, что девушка «как-то не вовремя». Прочитав пару строф, ласково журит длинноволосую: «Вот тут у вас ударение неправильное» и т.д. Советует поучиться. Но девушка не из робких, не соглашается насчет ударения, ссылается на классиков, мол, тоже ударения бог знает как ставили. Вернулся озабоченный Ткаченко, перечислял закрытые уже газеты, «неизвестно, может завтра нас закроют», сборник мой взял, повертел, сказал «красиво делают» и «позвоните», «может, уляжется». По дороге домой отоварился на случай осады картошкой, луком, хлебом, лишний раз подивившись, что магазины народ не штурмует. Зашел к Мише. Миша поразил меня неожиданным оптимизмом. «Наум, скоро все это рассеется, как дым, они обречены, больше двух-трех дней я им не даю. Они, как и ты, живут еще в старом государстве, давно исчезнувшем. Ельцина не смогли арестовать, американцы уже пошли напопятную, уже не очень-то признают путчистов, Буш сказал (у Миши хитрая антенна, Си-Эн-Эн ловит), что возможны драматические изменения — он зря такое не ляпнет». Ну вот, говорю, они с отчаяния и пойдут ва-банк, терять нечего, сегодня ночью будут штурмовать Белый дом, а это — гражданская война. «Не, Наум, не решатся. Армия уже не та. В своих стрелять не будет. Нет, — воодушевился он, — ты только подумай, как тебе повезло! Ты ж внукам будешь рассказывать, ты подумай, приехать вот так и оказаться свидетелем исторических событий!» «Что-то мне такие везения не нравятся», — проворчал я, но Мишин оптимизм меня явно приободрил. Может и вправду рассосется? Ночью приснился кошмарный сон, будто кто-то крадется к моей постели, вот встал у изголовья, а я не знаю, обнаружить ли то, что я не сплю, может просто воры, покрутятся и уйдут, а шевельнешься — при-

шьют, а с другой стороны, если пришли гробануть, то не облегчаю ли я им работу? Весь напрягся для прыжка, глаза чуть приоткрываю, хочу посмотреть, что происходит: огромная тень передо мной, заносит две руки с топором, щас ка-ак! — и я в ужасе просыпаюсь, еще ловя отзвук собственного крика. Пять утра. Окно чуть светлеет. Нет, заснуть уже не удастся. Включаю радио. Молчок. Вчера до 11 работало «Эхо Москвы», а в 11 вдруг отключилось, и я решил, что все, радиостанцию взяли, прикрыли последний источник правдивой информации, вот-вот штурм.

Светает. Пошел сильный дождь. Полшестого телефонный звонок. Жена. В ужасе. Что делать, к кому бежать? Я говорю: пока все спокойно, никуда не бегай. Позвони еще раз вечером. «Бери билет, и немедленно вылетай!» Не могу, говорю. Это и технически не так просто, и вообще. «Тетя Софа звонила из Америки, волновалась, от твоей мамы пока скрывают, что происходит». — «Пусть не волнуются. Пока все неясно. Позвони вечером».

В шесть прорезалось «Эхо Москвы!» Значит штурма не было! Непонятно. С другой стороны какие-то отборные части в город ввели, назначен комендант, ввели комендантский час. Чёрти что. Все-таки потащился через весь город к зубному. На улицах, в метро некоторое оживление, очереди за газетами, но, в общем-то... Осмелев-обвыкнув, ловил частников. По дороге болтал, прощупывал настроения. Никто особо не озабочен. И чувствую, как вылезая из своего «инкогнито», как змея из старой кожи, еще не уверен, но уже часть среды, шурша уползаю в листья... Зубник оказался здоровенным бугаём с кошачьими манерами, сказал, что коронка не нужна. А что отвалился кусок зуба — ерунда. Можно заделать, если угодно, но не рекомендует. Радостно, почти вприпрыжку, выбежал на улицу. То дождь,

то веселое солнышко. Поехал, как договорились, к Сап-гиру. Сапгир в легкой панике, не отходит от телевизора (у него тоже Си-Эн-Эн), надеется на благополучный исход. А я боюсь, что они, почуяв провал, озвереют и... Генрих говорит: «Верховный Совет не даст». Как же. Передал ему свои тексты, забрал его и — домой. По дороге еще раз отоварился. Теперь пару недель смогу продержаться. Зашел к Мише. Твердо верит в победу. В приподнятом состоянии духа. Новая страна, говорит, рождается, ты поезжай к Белому Дому, там тысячи людей собрались, живая стена, да ты что, какие танки, люди стали другие. Хазбуллатов ты знаешь кто?! А Назарбаев — это же скала! И то, что ты именно в такое время вернулся — символично, почти мистично... Хотел я его спросить, а чо ж ты дома сидишь, живой стеной не послужишь, но не спросил. Дома сел на телефон. В Сохнуте все спокойно. Лена говорит, что часть учеников пришла вчера, обиделись. Как же они припёрли, изумился я. Я и сама удивляюсь, говорит, обнаглел еврей. Мне даже стыдно стало. Оказался трусливей местных жителей, а ведь я вроде бы как даже и защищен... Позвонил Маше. Так, на всякий случай. Пригласила к себе вечером. Окрыленный, помчался на урок к Саше. Саша в истерике. Вот (это он жене с дочкой), дождались, идиоты, теперь никого не выпустят, всё. И еще неизвестно, чем все это кончится. Ночью точно штурм будет, у них просто нет выхода. Урок получился скомканным, народ нервничал. Разошлись рано, до темноты. Я остался чай пить. Не отрываемся от радио. «Эхо Москвы» работает, но речи ведут прощальные. Настроение мрачное. Рисуем друг другу апокалипсические картины. Саше слышался выстрел, бросился к окну. Улицы пусты. Хочешь, переночуй у нас, предложил, точно штурм будет. Штурм-не штурм, а я еду к Маше. А мне плевать, мне очень хочется. Встречает меня в каком-то задрипанном

халатике, смущенная улыбка. Два парня на кухне, один с кипой. В квартире балаган, сопливый ребенок. Ну, думаю, посидят ребята и уйдут. Ан нет. Пили, пили чай, с сионизмом вприкуску, пропотели, как в бане. Чую, мне их не пересидеть. Уже комендантский час, ребятам деваться некуда. «Давайте, — говорит Маша, — оставайтесь все. Я вам на полу постелю...» Нет, говорю, оскорбленный до глубины, мне пора. Вышла меня проводить. Извини, говорит, что так получилось. Ладно, говорю, чего ж. Бывает. «Позвони, может, завтра?..» Чего-то буркнул. Чувствую, закипаю. Пол-первого. Улица темна. Поддатая молодежь шляется, трамвай приполз с грохотом. Довез до метро. У метро танк стоит, прожектора, грузовики с солдатами. Внутри кучки людей у стен, листовки читают. Я подошел: «Московский комсомолец». Мужик подскочил, сорвал листовку, заорал: «Милиция!» Народ хмуро-равнодушно посмотрел на него, никто ничего не сказал, но разошлись. На Поспекте Маркса я чуток струхнул — никого, пустая станция, пустые вагоны. В переходе опять кучки людей у стен. Домой добрался благополучно, никаких патрулей, какие-то подростки на тропинке двушки попросили для телефона, я им высыпал из кармана мелочь и еще удивился, что не почувствовал страха. Дома бросился к радио. «Эхо» не работает. Может, уже штурмуют? Позвонила жена. «Где ты шляешься?! Я уж не знаю, что подумать!» Постарался успокоить. Позвонил Трумпянский, чтоб завтра явился в «штаб», подежурить у телефона. Я ему в истерике: «Почему не эвакуируете?! Ждете пока вокруг аэродромов бои начнутся?!» Не волнуйся, говорит, не волнуйся, все в порядке, никакой необходимости в эвакуации нет, все это нас не касается, нас не закрывают, мы продолжаем работу, нельзя так в панике «очистить территорию», это поражение.

Впрочем, завтра видно будет, все идет по плану, надо будет — эвакуируем, не волнуйся. По его тону я понял, что мне нужно успокоительное.

21.8. Спал плохо. В шесть включил радио — «Эхо» работало! Жизнь еще теплится! Попытки штурма ночью были, но неловкие, несколько человек погибло. Но Белый дом не захвачен, Ельцин мечет из него громы и молнии, слухи о переходе частей на сторону Ельцина, какой-то майор со своей танковой ротой охраняет российский парламент, на сегодня созвали съезд. Льет дождь. Народ всю ночь простоял под дождем у Белого дома. Неужели страна действительно стала другой? Дворничиха котом сзывает, молока налила в миску. Тревожно, но уже ясная надежда. К 9-ти поехал в гостиницу «Спутник», там штаб. Двухкомнатный номер. Гур бреется, покрикивает на Трумпянского, Трумпянский мечется. «Слушай, мы тут с утра носились, оборвали кабели у телефона, ты чего-нибудь в этом смыслишь?» Прошелся по «оборванному» кабелю, просто разъем отключился, кто-то ногой задел. Соединил. Пришли в дикий восторг. Назначили главным по телефонам. Звонки со всего Союза, куда бежать, где прятаться, что делать, звонки из посольства, из Израиля: газетчики, с радио, из Сохнута. Если с радио, то Гур Трумпянского шугает от телефона, сам интервью дает, докладывает обстановку, что из окон видно, каково положение евреев. Сидим высоко, 20-ый этаж. Какие-то люди забегают, докладывают, получают задание и убегают дальше. Встретил знакомого: «Откуда?! Как сюда попал?!», но поговорить не успели, телефон обрывают. Спрашиваю у Гура: «Так что отвечать насчет эвакуации?» Вы, говорит, бывшие советские, все ужасные паникеры. Ну подумай, ну что нам сделают, мы же иностранцы! Нас все это не касается! Здорово же вас напугали. Ты сколько лет в Стра-

не? Разговор на иврите меня действительно несколько успокаивает. Отвечаю на телефоны, как велют: аским карагиль.

К 12 вдруг смена установки после переговоров с посольством. Всех засланцев сзывают в Москву, на всякий случай, поближе к вертолетам. В воздухе запахло легкой паникой. Какая-то засланка звонит из Днепропетровска, говорит у нее две девицы в лагере под городом, не хотят уезжать, боятся, в лагере говорят безопасней, так может пусть пока там сидят? Нет, приказ: всем в Москву. Маргарита звонит из Ленинграда. «Привет, — говорю. — Давай, дуй в Москау». «Да? — недоверчиво спрашивает. — Пока доеду — весь балаган кончится...» Гур уехал в посольство, на совещание. Трумпянский отпустил меня в буфет, перекусить. В лифте разговорился с каким-то кавказцем, тот нещадно ругал хунту, мы им, говорит, не дадим опять страну загубить, 500 человек, говорит, из Чечни прибыло, Ельцина с Хазбулатовым охранять, вооружены до зубов. «Из Чечни?» — удивился я. «Ну как же, Хазбулатов!» «Ага!» — сделал я вид, что догадался. В буфете взял бутылку армянского коньяка и две банки лосося. Кавказец пил коньяк в разлив. «Давай, — говорит, — выпьем за победу». За победу я, конечно, согласился, хотел даже заплатить за него, но кавказец возмутился, обиделся и гневно расплатился за меня. Деньги — дым, говорит. Сели мы у окна, пропустили коньячку, я так понял, что для него это был уже не первый присест с утра, стал рассказывать про свой бизнес, какие-то пароходы, перевозки по Черному морю, а ты, говорит, что делаешь? А я, говорю, евреем работаю, из Израиля мы. Кавказец пришел в полный экстаз, тут же предложил продать мне пароход и организовать туристскую компанию. Еле от него отвызался. Часа в три, сославшись на неотложные дела с

учениками, смылся из штаба. Опротивела суета. По-ехал к Гандлевскому. Дождь перестал. У Гандлевских сидел Кибиров, тянули винцо без закуси, настроение приподнятое — чаша весов склонялась к Ельцину. Пересказывали байки знакомых, из тех, кто был ночью у Белого дома. В квартире развал переезда. Поставил на стол банки с лососиной, вино потекло быстрее. Развеселились.

Кибиров (Сереже): Ты знаешь, что Лукьянов стихи пишет?

Гандлевский: И Язов пишет.

Кибиров: Ну, Язов даже печатается.

Гандлевский: Язов просто большой поэт.

Я похвастался, что познакомился с Сапгиром, но это почему-то никого не порадовало. Кибиров заметил, что Геня — бабник, как выпьет, лезет лапоть. Гандлевский пожаловался, что прям при нем Лену лапал, «просто больной». «Кураж значит есть!» заметил я, уже пьяный. Кто-то позвонил и сообщил, что заговорщики бежали. Их ловят во Внуково. Не верится. Телевизора у Гандлевских нет. Еще позвонили, точно: путч сдох. Выпили еще на радостях, шутили, что недолго страну пу-чило. Потом еще собрали спиногрызам, так Гандлевский зовет отпрысков, двухэтажную кровать, после чего я откланялся и поехал на урок. Сережа сказал, что отдал мою книжку в «Октябрь», надо позвонить, уз-нать, не обломится ли чего.

Урок прошел на ура. Всеобщий энтузиазм. Позво-нил Маше. Приезжай, говорит, вечером. А общие дру-зья, со смешком спрашиваю, не нагрянут? Нагличаю, да и запала первого уже нет, измученная девка в драном халатике вытеснила элегантную девицу под пролив-ным дождем, в сверкающем черном плаще... Однако по-тащился. Приехал к девяти. Укладывала ребенка, я по-ка на стол собрал: лосось, армянский коньяк — за

свободу пить. И вдруг звонок. Вчерашний дружок в кипе, большой такой, слегка дебильный, с рюкзачком. И сразу за стол. Вот здорово, говорит, коньячок. Маша засмущалась. Шепнула: сейчас он уйдет. Но он и не собирался. Коньяк выпили, лосось съели, да все не впрок. Со мной опять играли в пересиделки. К полуночи друг сказал, что поздно и он, пожалуй, заночует.

— Я могу вас обоих расположить, — растерянно сказала Маша.

Эта дурная повторяемость даже позабавила.

— Ну, зачем же такие сложности, — усмехнулся. И, несолоно хлебавши...

Маша вышла меня проводить и по дороге оправдывалась. Рассказала, что он в нее с детства влюблен, и даже когда замуж вышла, все вот так приходил каждый день и сидел, пока муж не сбежал, и теперь все приходит, охраняет, как пес. «Надо было давно нахуй послать», — говорю в сердцах, а сам думаю: ну, охамел совсем, да какое тебе дело, обидно, конечно, что накололся, так ничего не поделаешь, проглоти и забудь. Поймал попутку, «Волгу», два мужичка впереди — забыл инструкции, забыл испугаться, всё забыл от злости. Всю дорогу мирно болтали сколько у Рижского «афганы» стоят (щенки) и сколько на Арбате, про бабу какую-то, которая только с «афганов» живет, даже тачку купила. Радио от радости захлебывалось: комендантский час отменен, войска уходят, заговорщики арестованы, в городе беспорядки — памятники ломают. Спал спокойно.

22.8. С утра солнце — и погода переменилась! Вызвали опять в «штаб», черт бы их побрал, послали «помогать», какие-то ящики перетаскивать. Не могу, говорю, спина. Отпустили. Поехал к тете Мусе. Рас-

спрашивала про маму, накормила вкусным обедом. Внук, кудрявый барашек лет 12, неожиданно стал ластиться ко мне, как котенок: прильнул, обнял. Бабушка смутилась, да и я немного. Смотрел по телеку митинг победы у Белого дома, пришел ее третий муж, хитрый сексуально озабоченный евреец за 70, по строительству промышляет, выпили водки, евреец вытряхнул остатки знаний лошен койдеш¹, благоприобретенные в еврейской школе, сказал, что все равно в этой стране ничего путного не выйдет — фoniaки работать не любят, только выпить дай, после чего еще раз выпил и перешел на то, что мне девочка нужна, и что такой бравый парень, как я, уж конечно девочек лопатой гребет.

В три я ушел и поехал в центр. От пл. Дзержинского вниз, к Манежу, шла несметная толпа, транспорт перекрыли. В той же лавчонке на 25 Октября купил еще пленку на 1000 ед. и, выйдя к «Площади Революции», потек с толпой. У метро бойко продавали антисемитские газетенки (купил для коллекции), порнушку, демонстрировали удава, у гостиницы «Москва» митинг, погода теплая, солнце клонилось к закату. Выступал Аратюнян и отметил участие евреев в защите Белого Дома, записывались в национальную гвардию, переходы облеплены торговцами сигаретами, зонтиками, книгами, кроликами, щенками, чулками, платками. Дошел до Дома Книги, купил «Молот ведьм», Библера и Валлу. Поехал к Саше на урок. Прошел скомкано, не до учебы, смотрели пресс-конференцию Горбачева. Выглядел жалко. Позвонил Оле и Инне. Больше хочу Олю, но и Инна тоже... Приехал домой к десяти. Позвонил Алику. Он был у Белого Дома, в оцеплении, обе ночи, 19

¹ Священный язык (идиш)

и 20. Чувствовал, говорит, что отступить некуда, если бы те победили, все равно жизни бы не было. Я сказал, что логично, но кроме логики в таких делах не мешает и капля мужества, так что я им восхищаюсь, он активно запротестовал, но потом перешел на то, что больше всего на свете ненавидит трусов, потому что могут продать в самый неожиданный и важный момент... Позвонил Иосифу, спросил про Сережу Костырко. Сережа был в эпицентре, строил баррикады, был назначен сотником. А Иосиф в это время статью писал. Мы, говорит, с Геней на демонстрации не ходим. Стало как-то легче, значит не я один такой умный. По дороге домой, на тропинке во тьме встретил Мишу, он провожал даму, собственно я узнал собачек, и только тогда догадался, что это Миша. Он меня не заметил. К полночи свалили статую Дзержинского, а я сидел дома и чувствовал себя мерзким трусом...

23.8. Утром звонила жена. Потом Инна. У нее женское расстройство. Волнуется. Не я ли наградил. У тебя, говорит, с глазами-то как? «Чего?» — не понял я. «Ну знаешь этот анекдот: доктор, что это у меня с глазами? Да все нормально, а что? Нет, вы доктор внимательно посмотрите. Да все нормально. Так что же это, когда я писию, у меня глаза на лоб лезут?» В общем, «все отменяется», позвонит в четверг. И опять повторяемость поразила. Тогда, лет 20 назад, позвонила, говорит, извини, но мой долг предупредить, боюсь, что у меня гонорея. То есть у жёниха моего нашли. Так что ты пойдй, проверься. Я, конечно, никуда не пошел, и не было, кажись, никакой гонореи. Вот и сейчас, может, просто грязь попала, не мылся ведь две недели. Со страху и у меня зачесалось. Поехал к Лёве, отвёз брошюрки. Лелеяли политические планы: он примыкает к нашей партии,

мы пробиваем ему финансирование и помогаем ввинтиться в Сионистский Конгресс. Хочет откупить время на радио, сегодня это копейки, газету организовать, создать российскую сионистскую партию, как до революции. Надо Россию с Израилем сблизить, враг теперь общий — мусульмане. Говорит, среди погибших один еврей, Илья Кричевский, завтра похороны, мы, говорит, с израильским флагом пойдем. Пойдешь с нами? Не знаю, говорю, я в смысле демонстраций лицо не вполне свободное. На всякий случай договорились встретиться у «Националя». По ходу дела из Израиля звонили, из «Марива»¹, интересовались, как это все на алию повлияет, и что себе евреи теперь думают. Левушка за всех евреев ответ держал. По дороге, у метро, я купил у восточных людей шикарные груши, в газетном киоске увидел Ортегу из серии «Памятники эстетической мысли», взял две штуки, хоть и таскать тяжело. В следующем магазине отоварился молоком и сырками творожными. Ушлым москвичом заделался. В четыре встретился с тёхой из Липецка, наконец-то письмо и деньги попадут в Липецк. Тёха запуганная, схватила конверт и убежала. В метро — энтузиазм победившей революции. Не у всех, но те, кто воодушевлен, друг другу улыбаются, вступают в разговоры, как старые знакомые, смеются над хунтой, и меня в этот водоворот братства увлекло, забылся, разболтался с попутчиками, мудаки, ласково смеялся один над гекачепистами, даже переворот не смогли как следует провести. Какой-то приезжий к нам протиснулся: ребят, расскажите, что произошло, я с поезда, не в курсе. Да ты что, компартию запретили, бля, Ельцин Горбача к стенке припер, а тот... Я тоже смеялся, забыл про страх, и про то, что чужой. По-

¹ популярная тогда израильская газета.

ехал в «Военкнигу», за Ширером. Не достал, но взял еще одного Карлейля «Историю французской революции». Потом — к Лизе. Тетка еще бодра, хитра. Отсыпал ей 500 рублей, но кажется это для нее мелочь, даже не вздрогнула. «Это Маня послала?» На мою щедрость не рассчитывает, знает фамильную скупость. Отдала некоторые старые фотографии папы, еще мальчишкой... Домой вернулся усталый, но все еще возбужденный происходящим. Перекусил и — к Мише. Поздравить его с гениальным провидением. Но разговор вышел о бабах. Миша в грустях, дама, с которой я его встретил, разочаровала, он думал, что она останется, а она ушла. Рассказал, как однажды женщину нанял по телефону, через приятеля. Какие категории бывают, сколько стоит, и как это обделать технически, чтоб с уголовщиной заодно не встретиться. Посмотрел у него Си-Эн-Эн. На ночь полистал «Восстание масс» Ортеги. «Масса — это посредственность», «масса — это те, кто плывет по течению». А «жить — это вечно быть осужденным на свободу»... Философы — одиночки, «массу» не любят. А жизнь-то — в массе.

24.8. Утром поехал на Манежную, Левы не было. Народ стекался на площадь со всех сторон, с флагами, российскими, украинскими, литовскими, андеевскими, американскими, английскими, я поискал израильский, не нашел, плотность толпы нарастала, она затягивала, как водоворот, один предприимчивый, взобравшись на горку из досок (у «Националя» что-то чинили, разворотили мостовую, навалили камней и досок), давал за деньги в подзорную трубу поглядеть на трибуну, я взобрался на большой камень и фотографировал. Начался молебен, речи. И вдруг слышу: кадиш! Народ зашушукал: чей-то? чей-то? Нашлись просвещенные, объяснили, что еврея отпевают, народ воспринял без особого удо-

вольствия, но мирно. Потом все двинулись через Арбат к Белому Дому, а я пошел в противоположную сторону, к Лубянке, по книжным. На Дзержинского трудились возле осиротевшего цоколя, каждый долбал его чем мог. Вечером Боря с Мариной в гости заехали.

25.8. Утром сохнутчики собирали народ у метро «Революция 1905 года», на Ваганьковское идти, на церемонию «еврейского отпевания» Ильи Кричевского. Все начальство прибыло, Ёси Сарид¹, в Москве оказавшийся, явился, Агурский с полной девицей, которой однажды стихи мои приглянулись, секретаршей у него? Спорили о том, надо ли «еврейскую долю» в общей крови выпячивать, Сарид был недоволен, Агурский в приподнятом настроении, Левушка пришел, венки принесли, тронулись на Ваганьковское... У свежих могил была невероятная давка, но евреи дружно окружили могилы плотным кольцом, возложили венки, зажгли свечи, отмолились и стали речуги толкать. «Ветераны войны! — кричала пожилая гражданка с медалями. — Вот евреи раньше в загоне были, а теперь, когда наша кровь, как и во время войны...» Говорили долго, со слезами, какие-то ссоры начались: почему сказать не дают, почему только евреи выступают, взроптало национальное большинство... Речь Трумпянского о том, как побратались русский и еврейский народы, вместе проливая кровь за вашу и нашу свободу, во время войны и теперь, я не дослушал, надоела давка у могил, пошел погулять по Ваганьковскому, у памятника Высоцкому небольшое скопление, кто-то пел и брэнчал на гитаре, разливали родимую, на траве лежала газетка с горкой нарезанной колбасы. По доро-

¹ Многолетний лидер крайне левой фракции в Кнессете.

ге к метро зашел на рынок, отоварился овощами, дома сделал салат с итальянским соусом, устроил себе пир. Вечером была вечеринка в «России» по случаю отъезда Гура. Гур — израильская шпана комсомольская. Протеже Диница. Лет под сорок, гладкий, не зацепишься. Да мне-то что. Здесь, в баре на последнем этаже, двадцать лет назад, я влюбился в Инну, в ее улыбку... Танцевал с Викой. Девятнадцать лет. Сладкая. Обнимала за шею. Гур погрозил мне пальчиком. Сима, бывалая сохнутовская, уперлась обеими руками в грудь. Потом Гур ее оприходовал, Гуру Сима хитро улыбалась, а руки держала на его плечах. Из окон был виден Кремль, Москва-река, разбитные молодые люди на другой половине зала стали бросать в воздух пятидесятирублевые бумажки, пачками, израильтяне заинтересовались, какого достоинства бумажки бросают и сколько это в долларах, а полтора? ну, это не много, но все равно странно.., оркестр играл «а нам все равно», кабак нагрелся, какие-то компании начали выяснять отношения, израильтяне за нашим длинным столом наперебой рассказывали о своих подвигах во время путча, потом затянули народные-партизанские. Я уже шалею без бабы. Думал перехватить Симу, но Гур был начеку, мол, не по чину берешь. На закуску пристал Тугтер, выкатив важно животик, делился тайнами о своих доходах: «Ты знаешь, сколько они мне платят? Не поверишь!», и о том, как недавно запросто зашел в бывшую приемную ЦК на площади Ногина, а я рассказал про изумившую меня размашистую надпись от руки на голой стене огромного дома, где-то на уровне десятого этажа: «евреев — в цеха!», но кто-то аккуратненько зачеркнул букву «Х» и вместо нее поставил «К».

26.8. Сорвался и дважды слил. Полегчало. Кажется Диоген сетовал, что если бы от всех наших страстей было бы так просто освободиться... Звонила жена. «Скорей бы ты уже приехал. Я уже не могу». Возьми, говорю, «дружка», он в пакете на нижней полке, побалуйся пока. «Ты что, смеешься? Уже совсем спятил там?» — захихикала. А я себе думаю: «И от резиновой теперича не отказался бы». Вечером звонил двоюродный брат Генка из Ленинграда, подумал приехать попрощаться. Я ему сразу: «У тебя ты не сможешь остановиться». — «А что, принимаешь клиентов?» «Все-то тебе расскажи», — напустил я туману.

27.8. С утра приперся Генка (остановился у тети Жени), замучил кретинскими разговорами, что он рассчитывал на сто, а получил от меня только пятьдесят долларов, а что сегодня пятьдесят долларов?, только один обед в мою честь обошелся в двадцать три: бутылка итальянского вина — десять, мясо — пять, на рынке покупали, банка кофе — четыре, ну и т.д., а вот ему пальто нужно зимнее, так одно пальто долларов в двадцать обойдется, а вот Поле я, мол, дал 80, а она не бедствует, у нее бизнес, два сына, байбака взрослых, а его Толик вынужден от призыва скрываться, и всем надо на лапу... Удрал от него к Иосифу, мыться. Горячую воду так и не подключили, весь оброс грязью. Глотаю антибиотик — десна воспалилась. От этого потливость и слабость. Иосиф статью закончил. Я еще отобедал у него, и даже в шахматы успел наказать, совершенно неблагоприятно. Вечером урок у Саши. Он продает часть библиотеки, накупил у него книг, в том числе редкую о музее Корина, хочу подарить Оле.

28.8. С утра отправлял книжки на Кировской, встретился с Генкой, вместе позвонили маме, потом

гуляли, я его тянул в книжные, а он меня — в промтоварные и комиссионные. В два встретился с Макаровым-Кротковым, собрались к Айги, Генка прилип, не оторвешь, тащился с нами до Ваганьково (Айги живет рядом), тут уж пришлось его просто отрезать. Айги маленький, щуплый, седобородый. В квартире кавардак, какие-то коробки навалены, разбросаны книги, хлам, грязь. Сели пить на краю стола, заваленного газетами, книгами, пустыми пачками дешевых сигарет, грязными блюдами, окурками. Оба они задымили со страшной силой какой-то местной махрой, чуть не задохнулся. Достал пачку «Мальборо», пусть хоть человеческое курят, Айги ее тут же прибрал: «Можно я ее подруге подарю?» «О чем разговор», — и достаю другую. Шучу: «Придется вам при мне курить «Мальборо». Айги вспоминал, как чудесно провел время в Иерусалиме, просил передать привет поэту Володе Тарасову, воодушевился и растрогался, чувствовалось, что мужик темпераментный, и действительно был в Иерусалиме счастлив, подарили друг другу книжки, он и Володе просил передать книжку, с радушием надписал ее, потом, обращаясь в основном к Макарову-Кроткову, мол, это местные дела, стал метать громы и молнии на Евтушенко, который написал в «Правде», что они, Евтушенко и компания, на гребне революционных преобразований собрали Союз писателей и смело приняли в Союз целый ряд молодых талантливых поэтов: Гандлевского, Кибирова, Айги и прочих. «Я ему тут же позвонил, — возмущался Айги, — и говорю: а ты меня спросил, хочу ли я вообще вступать в ваш вонючий Союз?! Ишь, «молодого-талантливого» нашли!» Разговор сполз на политику, включили телевизор. Оценки пессимистические, боятся развала Союза и югославского сценария. Расставаясь, обнял

меня, расцеловались, просил Иерусалиму привет передать, душевный оказался мужик. Дома звонок Риты, еще одна протеже Инны. Договорились завтра встретиться. Да, горячую воду дали! Наконец-то понежился в ванне. Вечером урок. Дождь третий день идет не переставая.

29.8. Позвонила Инна. Муж спит. А иначе не позвонишь, он подслушивает по параллельному телефону. Договорились встретиться у «Москвы» в полдвенадцатого. Как у тебя, говорю, с «женским расстройством»? «Вроде обошлось». Но ко мне ехать не пожелала. Пришла с какой-то родственницей, ма-разм, та с мужем и дочкой, в гости в Москву приехали. Думали на 15-ый этаж гостиницы подняться, там знаменитое кафе, но лифт не работает. Пошли гулять всем кагалом. В ЦУМ — закрыт. В «Книжную лавку» — отоварился. Муж родственницы сценарист. Говорит, хорошо платят, за один сценарий — можно полгода жить. Пошли искать выставку художников-шестидесятников (Целков, Шемякин, Крапивницкий, Штейнберг). По указанному адресу выставка отсутствовала. Сказали — переехала. Куда — неизвестно. Нагуляли аппетит в этих поисках, на Цветном увидел вывеску «Пиццерия». Оп-па. Завалились. Народу немного. Цены грошевые. Половой озабоченный.

— Пицц нет.

— Как это?! — возмутился я. — Написано ж «Пиццерия»?!

— Нет, нет пицц, гражданин, — раздраженно повторил половой.

— А чем же вы кормите в пиццерии? — иронизирую.

— Есть бульон куриный. Пирожки с сыром.

Посоветовавшись, согласились.

— И пива, — говорю, — принеси к пирожкам. — Какое у вас?

Не удостоив ответом, половой убежал.

Бульон оказался ничего. А когда пирожки принес, я ему напоминаю:

— Мы еще пиво заказывали.

Он и бровью не повел, удрал. Меня заело. Встаю из-за стола (Инна умоляет не скандалить, мол, без пива обойдемся) и ловлю пробежавшего мимо полового за фалды:

— Вы что, не слышали, пиво у вас есть или нет?

— Не хулюганьте, гражданин, не хулюганьте, мне работать надо.

У Кировской родственница с мужем заявила, что в дальнейшем они собираются перемещаться самостоятельно. Скатертью дорога. Однако дочка осталась с Инной. Лет двенадцать, хитро на нас поглядывала. Я отвел Инну в сторону.

— Ты что, нянька?!

— Ну вот я дура такая, всегда на меня вешают, как на вешалку.., — бичевала себя.

— Я думал, мы пойдем, подарок тебе посмотрим... Уезжаю скоро...

— Ну что, она не помешает.

— Нет, — сказал я решительно. — Ладно. В общем... Вот возьми 50 долларов, купи себе что хочешь.

Она смутилась. Но взяла. Простились. Глупо как-то все получилось, и с этими деньгами... Преглупо. Вернулся на Почтамт, книги сдать, а там очередь. Какие-то лихие ребята отправляли детективную литературу в Нью-Йорк. Разговорились. Поглядев на мой ассортимент, подивились, что такое «идет» в Израиле. Успокоил их, что для себя отправляю. Устал. По дороге домой купил помидоры у метро и потерял зонтик. Дома вырубился, даже есть не стал, спал часа три. Поехал к Саше на урок. К концу урока Рита должна была подскочить, отвести меня домой,

и поговорить по дороге. Приехала с мужем. Хотят в Израиль. Папа у нее еврей, но умер. Как быть? Плохо, говорю, ваше дело. Попробую выяснить, что можно сделать. Баба классная. В издательстве «Искусство» работает. Издательство на ладан дышит. Когда спать лег, позвонили из «канторы»: Агурский внезапно умер, завтра панихида в Сокольниках.

30.8. Цинковый гроб с Агурским стоял в огромной, как сарай, пустой комнате для церемоний. Пол мраморный. Двери стальные. Женщин не пустили. После зачина Трумпянского пошла вереница речей. Говорили о Роке, о земле, которая его не отпускала (год назад сын-альпинист погиб, штурмуя пик Ленина¹, и вот — сердечный приступ в номере гостиницы «Россия», горничная не смогла открыть дверь...), о том, что бы яркий, что был путаник, что будет вечно жить в наших сердцах. Я думал, кого бы мне пригласить на ужин с Гордоном? Хорошо бы Олю, но грозит несовместимость, заведут сионистские разговоры...

Речи кончились, открыли массивные двери-ворота, и мы вынесли гроб к автобусу — его отправляли домой, в Израиль. Позвонил Алле (школьная любовь, она была на год старше, совсем взрослая, и я не решался подойти, а увиделись через много лет в Иерусалиме, случайно). Думал пригласить на ужин. Но она уезжает на дачу. Что ж я раньше не звонил? Долго болтали. Позвонил Маше, зачем? Потому что больше некому? Согласилась. Зашел к Мише. Он завел мои старые магнитофонные записи, где я пел Есенина, Бунина... Потом долго говорил, рассказывал. О своем пути, о том, что должен будет рано или поздно уехать, да, потому что страх все равно не вытравить, страх перед русским варварством, перед

¹ одна из вершин Памира

пьяным мужиком, который может оскорбить отца, о том, что счастье, это когда собирал в лесу землянику в коробочку из-под зубного порошка, а отец был где-то рядом и совсем не было страшно, и что хочется хоть перед смертью избавиться от этого страха...

Рассказал как шабашничал с бригадой на Волге, под Саратовым, в степи. Бригадир был грузин, еще и клады искал в степи (там было какое-то городище). Он жил отдельно, потому что бригада все время выпивала, жил в доме у самой Волги, вот, говорит, ночью, за окном, идут по огромной реке баржи в огоньках, а в приемнике — «голоса», и такое чувство, что ты в центре мира... Потом опять вспомнил, как однажды пригласил проститутку по телефону...

Когда увидел Машу у Маяковского, сильно пожалел, что пригласил. Зверек мелкозубый. И настроена недоброжелательно. Так чего пришла? Поехали в «Варшаву». Выпили-закусили. Музыка играла, народ пошел в разнесанс, я ее приглашаю, а она еще кочевряжится. Пошел с Катей плясать. Лева сидит, как всегда, игривым сычом. Потом я развез всех на такси, как гранд, по дороге Левушка со мной на иврите гутарит, про Геулу Козн расспрашивает, а шофер, эдакий Платон Каратаев: «Это на каком же это вы языке толдычите?» «На древнееврейском, — говорит Лева. «Аа, — уважительно кивнул шофер. — Мудрено небось?»

31.8. Путешествие в Александров и Киржач с Нарциссовым. Сидел рядом с Олей. И соборы не в кайф — всю дорогу думал, как бы к ней половчей подъехать. На обратном пути решил, да прямым текстом: «Поехали ко мне». Вздогнула. Замолчала. А я, как танк с пушкой наперевес... Спугнул. Спряталась, свернулась улиткой в раковину. Сорвалось. Ну и черт с вами. А с Нарциссовым почти любовь...

Когда вышли на центральную площадь Киржача, где за торговыми палатами белокаменными полуразрушенный монастырь громоздился (собор 18-ого века, трубами, как канатами, перевязанный, хлебопекарня там), а в центре большой площади голова Ленина на постаменте, как голова профессора Доуэля, и пацан по лужам, распугивая голубей, виражи закладывает на велосипеде, другой бежит за ним, а голуби, вспорхнув, опять слетаются и пьют из луж, стайка пьяных парней покачивается у фонаря, а вокруг площади убогие, двухэтажные, начала века домишки, краснокирпичная пожарная, местный народ не спеша обходит торговые ряды с надписями: «Булочная», «Промтоварный», «Продукты», и Оля говорит: «Как можно жить в таком городе... Да надо быть сверхчеловеком, чтобы не спиться...» Глаза у нее синие, губы сжаты, спрятаны внутрь и запрещены для любви, кожа лица уже в первой, нежной еще паутине увядания... Вспомнил кадр из репортажа: когда народ шумел на площади перед Белым домом, какая-то девица в клетчатых брюках, будто заморская бабочка, выкатила на роликах, описала круг перед революционерами и исчезла...

1.9. Утром встретился у Кировской с Гандлевским, поехали к нему на трамвае книги забрать. День был солнечный, трамвай весело громыхал по переулочкам, тени от листвы и ветвей кружилась по пустому вагону. «Люблю эти места, старую Москву», — сказал Гандлевский. «М-да», — промямлил я, загрустив. Отбуксовали ящик с книгами обратно на Почтамт. Потом поехал на кладбище, к папе и бабушке. Папа смотрел грустно с фарфоровой фотокарточки, с какой-то невысказанной жалобой... Я поцеловал фотографию и заплакал. Потом поехал в Третьяковку. Долго ждал Олю, не пришла, и я зашел один. Народу

было мало. Щелкал, как сумасшедший, все эти лики «умиления», «взыскания погибших», «всех скорбящих радость», «утоли моя печали», всю эту юродивую, до сухого плача, до выворот кишок благодать, пока пленка не кончилась. Уже собравшись уходить, встретил Олю. Извинялась за опоздание. Посидели в фойе на скамеечке. Подарил ей книгу-каталог: иконы музея Корина, которую у Саши купил. Написала на листке свой адрес. В метро молча сидели рядом, я видел ее только в противоположном окне, ехали долго, она почти не поднимала глаз, и с каждой минутой предстоящее прощание все больше тревожило. Поднялся вместе с ней, обнял за талию и поцеловал в щеку. Выйдя из вагона, она обернулась, двери были еще открыты, улыбнулась как-то растерянно, а я ухмыльнулся криво.

2.9. В понедельник отвез книги, отправился в редакцию «Октября», к Барметовой, передать Сережины материалы, ну и своей книжке сделать промоушен. Тащился с авоськой, набитой новыми книгами, тубусом, в котором были купленные рисунки, устал, вспотел. В комнате сидели три женщины опасного возраста, сорок с хвостиком. Приняли ласково, рассматривали с любопытством, как диковину, но любви не вышло. Потом — к Гандлевскому, доложил о выполнении, вместе поехали в «Смену», но завотдела поэзии не застали. Вечером — урок.

3.9. С утра позвонил Алле, но она заболела. Не суждено, значит. Инна позвонила. Что б я анализ на эйдс сделал. Разозлила. Пришла Рита. Пробалансировали на краю кровати, но так и не упали в нее, не нашлось предлога. По ходу дела опять Инна звонит. Мы уж вроде, говорю, попрощались. Мямлила что-то. Извини, говорю, но у меня тут дама...» «Вот как?» «Что уж тут невероятного? Парень я — хоть куда», — и

Рите подмигиваю. «Аа, — она совсем сбилась с толку, — ну, тогда пожелаю тебе... всего...» Потом Миша зашел, проводил до метро, рассуждая о судьбе. Зашел в «Новый мир», к Костырке. Он сказал, что книжка ему понравилась, но на публикацию у них рассчитывать трудно, долго объяснял, какая идет сейчас в журнале пертурбация, смена идеологических направлений, власть берут почвенники. Познакомил с Матвеевым, кооператором из Свердловска, издает «Урал», «Лабиринт», деловой. Посидели с ним в скверике. Удивили вдруг высоченные деревья вокруг... Предлагал всякие формы сотрудничества, в Свердловск приглашал. Вечером зашел к Мише. Миша безостановочно что-то рассказывал о своей жизни, но я слушал рассеянно, уже чувствуя себя «на отлете», опять чужим, незванным на этот пир. Вечером звонил Витя, сожалел, что не удалось встретиться, вызвался отвезти в аэропорт.

4.9. Встретился с Иосифом, пошли в последний раз по накатанному маршруту: через Тверскую на Пушкинскую, в «буки», взял Фалька, которого заказал у миловидной разговорчивой продавщицы, она вчера позвонила, сообщила, что есть, потом по Кузнецкому, свернули в Пассаж, там художественный салон. Купил на последние сильно приглянувшееся «Начало зимы» В. Некрасова, акварель. Талый снег, серые пятна кустов, церквушка. Грязно-белое все... Двинулись на Кировскую, отправил книги, встретил Гандлевского, взял письма, встретил Борю, взял письма, передачи, втроем поехали на Пушкинскую, зашли к Костырке, он дал список лекарств, посмотрел на картинку: «Ты б лучше у жены моей купил, у нее этих пейзажей...» Опять вернулись пешком на Кировскую, и тут я с ними расстался. Начался мой одинокий путь назад. Вернулся домой к четверем. Принял душ, сложился. Последние звонки, расчеты с

хозяйкой. Не хотела эти несчастные три тысячи брать, нет, это очень большие деньги, говорит, хватит и тысячи, еле уговорил на две. Муж — босой толсто-вец с прозрачными глазами русского страстотерпца, а она — жгучая, черная (с проседью уже) еврейка, для сына в Израиле какие-то семена передала. Всё. Жду Витю. А Вити нет. И не звонит. Стал дергаться. Звонил, выяснял другие варианты, один из учеников обещал подъехать.

Позвонил Витя. Поломка была, задержался, звонит с бензоколонки. Приехал, наконец. Все та же пышная борода, ну чуть седина, глаза сверкают, обнялись. По дороге рассказывал, что живет не плохо, работает на дому, программы пишет, хорошо платят, вот, даже машину купил. В Израиль очень хочет приехать, посмотреть. Обменялись адресами. Таможня была благодушна, спросила только, зачем мне столько книг. И сам не знаю, говорю. Вот я и в самолете. Рядом эффектная девушка. Не очень разговорчивая. Но телефончик дала.

Посадка. Жуткая тоска. Будто вернулся в родное узилище...

ЕЛОЖИ ДЕ Л'АМУР

С утра бился, бился в сладостные пустоты... Неподвижна, как тибетская будда, только постанывает. Встал один, позавтракал, прогулялся с собакой, записал «целую» моей милой на автоответчик.

Вчера подались с ней в Латрун, по дороге пытался выведать, почему у нее настроение плохое, заговорил о любви, что есть любовь и почему ее обожествляют люди. «Скажи, ты чувствуешь, что тебе не хватает любви?» И она сказала: «Да».

В Латруне другой воздух, суше, пропитан сосновым запахом. Большие кусты бугенвиллии монастырского сада в цветном дыму всех оттенков красного: розового, пунцового, оранжевого, фиолетового. Встала у яркого куста: полыхающий нимб вокруг головы и сияющая улыбка. Потом поднялись в собор по крутой лестнице. Дверь открыта, доносится пение. Вошли. Двенадцать монахов, двумя группами, опустившись на колени, пели очень слажено, негромко, под аккомпонемент виолы да гамба, мотив был однообразный и все время повторялся, в нем была... нет, не грусть, а благодатная меланхолия. Пропев строфу, они умолкали, и наступала пауза абсолютной тишины, с минуту, и вдруг, всегда неожиданно, уколом в сердце, ее прерывал очень слабый, но явственный, как далекое блеяние жертвенного козленка, звук тронутой струны, он восхитительной бабочкой облетал все пустое и высокое пространство собора, будто благославляя его, и когда, поднявшись, начинал замирать, его под-

хватывали двенадцать сложенных голосов. Я украдкой посмотрел на нее: захватило ли ее это благоговение? Трудно было понять. Но когда попытался взять за руку, отстранилась. Значит, захватило, и плотское в этот момент мешает!

К часу они закрывали, и мы вышли. На скамейке у винного магазина при монастыре (вино они делают не ахти), опять стал ее пытаться за любовь, что это такое, страсть или благоговение, «разве любовь — это не какое-то чувство заполнения души, вот как воздух заполняет легкие, если его не хватает, начинаешь задыхаться...» «Да», — подтвердила она. «А может такое быть, что душа, хоть на миг, заполнится до отказа? Своего рода счастье?» «Нет, — говорит. — Душа бездонна».

К десяти поехал в Синематеку. Шел дождь. В фойе продавали книгу издательства «Реслинг» (оно и организовало все это мероприятие) «Нефтулей бавель», «Вокруг вавилонских башен» Деррида, с эссе Вальтера Бенямина «Задача переводчика». На обложке был фрагмент из картины Брейгеля «Вавилонская башня»: недостроенная башня-зиккурат поднимается вверх спиралью...

Народу собралось довольно много для философии, сотни полторы. Первая лекция была о философии перевода. Перевод, как форма общения культур, а стало быть и «нет ничего серьезней перевода», как сказал наш Деррида. Лекцию читала молодая, стройная женщина в очках, короткой юбке и рыжих сапогах, термины и имена отскакивали от ее ровных, хищных зубов (Брентано, Гуссерль, Деррида, Левинас, Лакан, Кант), и при этом она как-то издевательски улыбалась, возбуждая меня своей ученостью. Приятно расслабившись в этом густом интеллектуальном растворе, я стал разглядывать окружающих. Через два пустых кресла от

меня сидела молодая девушка, вообще, молодежи было много и это радовало, и я еще раз подумал, что хорошо бы завести молодую любовницу, вот такую же умную, чтоб любила меня за ум и талант, и не обращала внимание на признаки физувядания, ведь именно таких «одухотворенных» девушек можно часто встретить в обществе знаменитых стариков. Только вот жирка знаменитости не плохо было бы нагулять. Еще раз оглядев зал, я не нашел Катю, хотя Арье говорил, что она должна прийти. Внезапно возник странный и ровный шум: дождь не на шутку разошелся, а крыша, небось, тонкая, и под этот шум и пулеметный философский огонь я вздремнул... Очнулся, когда ученая красотка, улыбнувшись с вежливым радушием и ядовитой иронией, сказала, что она заканчивает, после этого выдала залпом ужасно извилистый абзац по Канту о моральном императиве и его предпосылке — абсолютной свободе, буквально воплощенной в предлагаемом переводе.

Потом на сцену поднялась женщина лет сорока пяти, в брюках и куртке, с волнистыми волосами, небрежно сбегавшими вокруг лица, вся ее фигура, жесты, постановка голоса говорили о незаурядной уверенности в себе и увлеченности темой (и без тени снобистской иронии). Но я уже устал от всех этих умностей от козы-Дерризы и, как дремлющий пассажир, замечал лишь мелькающие интеллектуальные вёрсты: перевод как эротический акт, влечение к заполнению «другого тела», эротичекая символика Вавилонской башни, прорыв к небесам, к Богу, (как перевод — прорыв к «другому»), Бог, как «другой», которого мы стремимся постичь... Слушая ее вдохновенную речь и восхищаясь, вспомнил, как взволнован был, читая в первый раз Деррида (неужто в самом деле мудрость эротична?!), и сейчас, когда передо мной была женщина, хоть и лишенная обычных женских ухищрений, но от этого не

лишенная привлекательности, я вспомнил утренние тщетные усилия, как я долго и упорно бился, с обидой чувствуя, что никуда не пробиваюсь, и подумал: как ужасно безвыходно это мое колотье... И опять вернулся к убеждению, что секс (который мне просто остачертел в последнее время), это в лучшем случае формальное соглашение о совместной интенции, о совместном желании «пробиться»... На днях, гуляя с Женей, прицепился и к нему насчет плотского и божественного: «В женщине есть нечто сакральное, во всяком случае, это именно то, что в ней интересно, женщина — это тоннель в потустороннее...» Женя — последовательный сторонник расовой теории и «врожденных» свойств — всякий дуализм в половом вопросе считает «еврейским» комплексом (пошли примеры Пруста, Селинджера), а я говорю: Флобер вот в евреях не числится, а его «Воспитание чувств» — роман о любви к женщине без стремления спать с ней. Заспорили о христианском влиянии, Женя вдруг вспомнил о своей первой любви, свидетелем которой я был в Друскениках, ему было восемнадцать, а мне 19, о том, что ему даже и в голову не приходили какие-то «желания». А как ты лишился девственности, спросил я. «Лет в двадцать, в доме отдыха. Бабе было под сорок».

В перерыве я опять крутил головой, надеясь увидеть Катю, или просто какое-нибудь привлекательное лицо, столь же озабоченное стремлением «пробиться к истине», но натыкался только на маски отстраненности и равнодушия. Почему, почему, хотелось мне закричать, что вы строите из себя «гордость отчуждения», когда на самом деле умираете от одиночества?! Идите сюда, несчастные, я всех вас обыму и выебу!

Потом был фильм Годара «Еложи де л'амур», «Хвала любви». Долгие, неподвижные, черно-белые (а иногда сплошь черные) мезансцены, заполненные «фило-

софическими» разговорами о том, что «молодой», или «старик», это слова понятные, не требующие объяснения, а слово «взрослый» требует «истории», и вот герой фильма пытается построить себе «историю», чтобы что-то значить, историю любви (существуют ли другие истории?). Фильм дробится на поток философских реминисценций: герой листает книгу без текста («Орфея» Кокто), слышится голос Целана, читающего стихи, опять мелькают имена Деррида, Батая, Симоны Вайль, Ханны Арендт, Гюго, Делакура, Домье, Коро (персонажи занимались продажей картин), рассыпается на фрагменты воспоминаний, ощущений, зрительных образов — знаменитая «деконструкция», понятие уплывает к горизонту интенций... Но деконструкция, этот водоворот рефлексии, не делает жизнь понятней или ощутимей, целое всегда больше суммы своих частей. И герой в конце фильма приходит к выводу, что «взрослый» — это бессмыслица, ничто, пустое место, миг между прошлым и будущим. И тут появляется море, и размытый экстатический цвет, и неожиданные визуальные эффекты: наплыв картины на картину, моря на портрет... И эти кадры вдруг, если не «пробивают», то пробирают, и остаются, их помнишь...

Арье обещал подойти к концу фильма, но его не было, может, испугался дождя. Поэтому, наверное, не пришла и Катя, его подруга. Хотя отношения у них странные. Арье защитил в Москве докторскую по математике, преподавал в Калифорнии, там же развелся, ударился в религию и уехал в Израиль. Здесь он, уже который год, не может найти нормальную работу, читает какой-то вычурный курс по теории расписаний в Бар-Илане¹, едва сводит концы с концами, хвастаясь при этом «важными» публикациями в престижных

¹ Бар-Иланский университет в Тель-Авиве

английских и американских математических журналах, которые вот-вот принесут ему мировую славу. Человек он чересчур прямой и скорый на суд. Хотя его религиозность не слишком агрессивна, но мой роман, несмотря на совпадение «политических взглядов», он отверг из-за «половой распущенности». Катя младше его на полпоколенья (а меня, соответственно, — на целое), после армии и двухлетних странствий по Индии, Японии и Новой Зеландии заканчивает вторую степень по социологии в Тель-Авивском университете. Русые волосы, серые очи. Что-то неясное, затуманенное, кажется, она ни на чем и ни на ком не сосредотачивается, вольно или невольно находясь как бы в отдалении. Арье, любитель бардовской песни, сам певун и игрун на гитаре, правда, неважнецкий, привел меня как-то в тель-авивский КСП¹, я сбацал пару своих песенок, и клуб любезно предложил мне дать концерт. Пришло человек десять, незнакомая молодежь, Арье явился с Катей и познакомил нас. Спев несколько своих песен, я ударился в старинный русский романс, молодежь переглядывалась, в общем, концерт прошел кисло. Но Кате, видно, понравилось. К неудовольствию всех остальных она просила меня спеть еще, сказала, что у меня очень «теплый» голос. Однажды мы должны были встретиться все вместе, но Арье не пришел, и мы с Катей провели вечер вдвоем, сходили в кино, потом посидели в кафе. Мои стихи (я подарил ей последний сборник) Кате тоже понравились, и однажды она даже пригласила меня, непременно с гитарой, в какую-то молодежную израильскую компанию. Там были и «русские», но говорили все на иврите, Катя упорно просила меня спеть, хотя никто из окружающих ее стремления «послушать русские романсы» не разделял, а после первой же пробы

¹ клуб самодеятельной песни

голоса всеобщая незаинтересованность стала невежливой: слушатели отвернулись и разбрелись. Одна Катя, подперев кулачком подбородок, осталась слушать. Когда мы уходили, я помог ей надеть плащ и при этом обнял и поцеловал в шею. Никакой реакции на этот демарш не последовало. Тогда я поцеловал её в губы. Но и губы молчали. Я понял, что мне будет позволено делать все, что угодно, но на ответный энтузиазм я не должен рассчитывать. Кажется, и здесь придется пробиваться к Господу в одиночку. Эта обреченность на одиночество даже в таком, сугубо парном проекте, просто удручала. Удручала. И я невольно возвращался, мыслями и телом, к моей милой: вот кто помогал мне пробиваться, помогал изо всех сил, но уж больно отчаянно...

В фойе Синематеки расставили столы с белым вином и печеньем: видно, презентация какого-то фильма. Собрался тель-авивский бомонд, это сразу узнавалось по надменным манерам, жеманным поцелуям, громкому смеху. Кучковались около стеклянной входной двери, потёртые, но самоуверенные, тянулись к свежему воздуху с улицы. Явился всем известный, но лишь недавно разоблаченный в газетах государственный жулик, был принят, как свой. Сквозь плотное кольцо попытался протиснуться старичок с молодой девушкой, да не тут-то было. В центре кольца царил виновник торжества, высокий, бородатый, в кожаной кепке, заметив усилия старичка, тоже, видать, знаменитости, он как-то очень предупредительно, извиняясь, с подчеркнутым вниманием наклонился к нему и ввел, вместе с девушкой, «в круг». К двери, в сопровождении двух еще нестарых женщин, в белой распашонке до пят, какие носят по праздникам мусульмане, с седой, всклоченной бородой и гневными глазами, решительно шлепая по лужам пляжными тапками, приближался известный скульптор и лауреат госпремий, похожий на Параджа-

нова¹. На плечах, поверх белого исподнего, висело длинное черное пальто, он на ходу складывал зонтик и двигался по направлению к высокому в кожаной кепке, который поспешил ему навстречу. Но путь местной знаменитости преградил охранник, тоже толстопузый и, судя по всему, «русский», желая по долгу службы произвести положенную проверку на безопасность. «Чего? — возмутился «Параджанов», — да ты знаешь, кто я?», и, как тараном, надавил животом. Типичный израильский ход. Любят, панимаш, двери ногами открывать. Даже в армии какой-нибудь офицеришка, зная, что у ворот базы положено предъявить документы, норовит проскочить на авторитете — ух, как я это-го не люблю: даже глядя со стороны, разозлился. Охранник (не зря я его сразу «вычислил»: наш брат) тоже обиделся и уперся. Высокий в кепке подскочил и стал чуть ли не разнимать: столкновение животов грозило перейти в настоящую ссору, голоса уже были подняты. Но звонок, прозвучавший в этот момент, не дал местечковому базару обрести полноценную национальную форму, удалось как-то уговорить охранника пропустить гения в распашонке без досмотра, в отместку страж безопасности особо тщательно проверил сопровождавших его женщин, которым, несмотря на справедливое возмущение, даже пришлось вывернуть карманы.

А вечером отметили по-семейному Новый год, а заодно и день рождения тестя и тещи, у них в один день. Сначала выпили за Новый год, потом тесть предложил выпить за свою жену. Все потянулись к ней рюмками, но она, гордо выпрямившись, возмущенно проворчала: «Я никогда не плясала ни под чью дудку!» Потом шурин «поднял граммулю»: «Мама, давай теперь

¹ Менаше Кадишман, известен скульптурами из металла.

за здоровье твоего любимого мужа!» «Он такой же мой любимый, как заноза в заднице!» — не полезла теща за словом в карман. «Кажется, — говорю жене, — они до сих пор любят друг друга».

Эх, захотелось мне туда, где степь да степь кругом, да на простор речной волны... И вдруг Катя позвонила: они «вот тут сидят» с Арье, но Арье «сильвестр»¹ не отмечает принципиально, а ей хочется за Новый год выпить, может, я просто подъеду, с гитарой? Я сказал, что можно, но буду с женой. «Ну и замечательно!» — сказала Катя. Жена ехать не хотела, но я пригрозил, что поеду один. Где-то к двум родня расползлась, и мы покапали в ночь. Накапывал дождик. Пустое шоссе грозно поблескивало, как черное зеркало. Арье встретил доброжелательно, но после первых приветствий и общих фраз, ушел к себе, спать. Тогда мы выпили за Новый год, я взял гитару, жена задремала, мы с Катей перешли на кухню, и тут я выдал, крича и воя, весь свой репертуар от «Шумел камыш, деревья гнулись», до «Ничего мне на свете не надо, /Я готов все отдать, полюбя...»

¹ В Израиле христианский Новый год называют «сильвестром», считается, особенно в религиозных кругах, что эта дата связана не с обрезанием Иисуса Христа, а со святым Сильвестром, победившим евреев в диспуте о вере и ставшего в 314 году римским Папой. По легенде святой Сильвестр 31 декабря 314 года спас Рим от дракона, связав его пасть нитью, которую он запечатал печатью с символом креста...

(из переводов)

Ханох Левин

ИЗ ДНЕВНИКА ГОРБАТОЙ ДЕВУШКИ

22.3. Волосы отросли. Уже лежат на плечах. Еще немного и закроют горб, тогда можно выйти на улицу и понравиться кому-нибудь, глядишь, и ей улыбнется жизнь. Хорошо, что у нее такие густые волосы и что они так быстро растут.

30.4. Чудесно, волосы бегут по плечам и скрывают горб. С первыми сумерками она выйдет на улицу. Вдруг какой-нибудь парень влюбится в нее и до того как поймет про гроб — после третьей или четвертой встречи — уже привяжется к ней. Это ее единственный шанс.

31.4. Вчера вышла с сумерками. В конце дня всегда ветер, он разбросал волосы и открыл горб, поэтому выход был безуспешным. Она должна выходить попозже, вечером, когда ветер слабеет. В ее положении без смекалки нельзя, все надо учесть.

4.5. Вышла на улицу и зашла в кафе. Был хамсин, ветра не было. Никто к ней не подошел, может быть из-за жары.

5.5. Вышла вечером погулять, ветра не было. Никто к ней не подошел. Наверное, потому, что когда жарко и нет ветра, она чувствует себя очень скованно, напряженно, шея потеет под массой волос и от нее плохо пахнет. А с другой стороны, когда ветер, и она не потеет, так открывается горб. Не просто ей в этой жизни.

6.5. Ветра не было. От нее плохо пахло.

- 7.5. Ветра не было. Плохо пахло. А дни проходят.
- 10.5. Ветра не было. Старалась не волноваться, чтобы не пахло. Пахло.
- 11.5. Не пахло. Был ветер.
- 12.5. Ветра не было. Подошел парень и пригласил в кабачок. Посадил ее рядом с вентилятором. Горб открылся. Парень исчез.
- 13.5. Был ветер. Никуда не пошла.
- 14.5. Опять был ветер. Просто странно, в такое время года... Она нервничает, так как зависит от погоды. Ожидание уродует ее. Она старится.
- 31.5. Весь май, как назло, дул ветер.
- 3.6. На улице ветер. Кто-то позвонил ей и сказал, что он слепой. Из-за телефона и его слепоты она почувствовала себя очень уверенно и подняла вверх волосы. Он предложил ей выйти за него, а когда она рассмеелась, сказал: «Чего ржешь, горбунья». Зарыдала и бросила трубку.
- 4.6. Всю ночь не сомкнула глаз. Думала о слепом. Может он обеспеченный, и она проворонила?
- 5.6. Все еще пилит себя за ошибку со слепым. Попыталась выяснить кто он, но никто ничего не знал.
- 15.7. Перестала мучиться из-за слепого. На улице жарко. Опять лето, и ветер — без перерыва.
- 16.7. Сегодня завязала волосы тяжелой лентой, чтобы не разлетались на ветру. Неудача. Лента вытянула волосы вдоль спины, и горб выпирал.
- 19.7. Вышла на улицу без ленты. Ветер. Горб открылся.
- 21.7. Ветер. Не выходила из дому. Вспоминала слепого. Может, уже женился и счастлив, хоть как-то?
- 23.7. Если бы у нее был ребенок, она бы носила его на спине и так бы закрыла горб. Но ребенка ей не видать до свадьбы, а после свадьбы и скрывать нечего. Может взять у соседей? Те, небось, воображают, что их дети предназначены для более возвышенных целей.

24.7. Проходила мимо зоомагазина. Что еще принято носить на спине? Ну да, попугая. Или обезьянку. Но они сидят на плече, а спина открыта. Может носить мешок с перьями? Девушка с мешком не очень-то привлекательна для мужчин...

27.7. Купила цемент, размешала с водой и заполнила провал между горбом и задом. Лежала на животе, цемент давил на спину и она тяжело дышала. Испачкала кровать, испачкала ванну.

2.11. Вот и зима. Дождь и ветер. Перестала думать о цементе, ребенке, попугае и обезьянке и вернулась к борьбе с ветром. Основная проблема, она уже поняла, это ветер.

3.11. Зимой, когда ветер, от нее хотя бы не пахнет.

5.11. Вышла с зонтиком. Держала зонтик перед собой, чтобы загородиться от ветра, но так ничего не видно и она споткнулась, как слепая. Разбила нос. Горб открылся.

6.11. Вышла с двумя зонтами, один держала вертикально, против дождя, а другой горизонтально, против ветра. Все смеялись.

1.12. Зима в разгаре. Сильный ветер.

4.3. Зима прошла. Отшумели бури. Теперь весна и светит солнце. Но ветер остался.

22.3. Прошел год с тех пор, как она отрастила волосы, на которые возлагала такие надежды... Что можно сказать о таком годе? Что боялась ветра, что парень посадил ее возле вентилятора, что звонил слепой. Вот вроде и все.

СОДЕРЖАНИЕ

Любовь с первого взгляда	5
Юдофил	6
Химеры	40
Последняя осень	55
Пограничный город	85
Солдатское	89
Смертельная улыбка	96
Москва, лето, 1991 год	112
Еложи де Л'амур	177
Из дневника горбатой девушки	186